

ЮРИЙ

ПОЛЯКОВ

ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА



Любовь в эпоху перемен

Юрий Поляков

Парижская любовь
Кости Гуманкова

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

Поляков Ю. М.

Парижская любовь Кости Гуманкова / Ю. М. Поляков —
«Издательство АСТ», — (Любовь в эпоху перемен)

«Парижская любовь Кости Гуманкова» – веселая и грустная история о вожденной поездке в Париж и о том, как этот прекрасный город повлиял на советских туристов, охваченных приобретательским азартом. Во второй том собрания сочинений классика современной прозы Юрия Полякова вошли знаменитые повести и эссе, а также рассказы, впервые переизданные за последние двадцать лет.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

© Поляков Ю. М.
© Издательство АСТ

Содержание

Апофегей	6
Что такое «Апофегей»?	62
1. Кто спал с Брежневым?	62
2. Вляпавшиеся во власть	65
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Юрий Поляков
Парижская любовь Кости
Гуманкова. [сборник]

© Поляков Ю.М.

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Апофегей

*Источник твой да будет благословен, –
и утешайся женою юности твоей,
любезною ланью и прекрасною серною:
грудь ее да упоют тебя во всякое время,
любовью ее услаждайся постоянно.*

Книга притчей Соломоновых

...Когда, сурово улыбнувшись, БМП закончил свое вступительное слово и, переждав аплодисменты, предложил считать научно-практическую конференцию открытой, в этот самый момент откуда-то из глубины переполненного зала вынырнула записка и поплыла в сторону президиума.

К сведению: Бусыгин Михаил Петрович, прозванный БМП за неуклонность, стал первым секретарем Краснопролетарского райкома партии полгода назад, сменив на этом посту бывшего лидера Владимира Сергеевича Ковалевского, как известно, катапультированного на пенсию вследствие невыполнения правительственного постановления об улучшении снабжения населения растительным маслом. Воцарение БМП, показавшееся кое-кому случайным, в действительности было глубоко закономерным, ибо некогда выпало Бусыгину учиться в Высшей партийной школе одновременно с нынешним городским руководством, которое, сколачивая собственную команду, вспомнило-таки про давнего однокашника и вытащило его из медвежьего подмосковного угла в столичный райком.

...Когда БМП со значением пригласил на трибуну основного докладчика – секретаря парткома пединститута профессора Желябьева, а равнодушный официант принес стакан теплого чая, записка, мелькая, словно чайка на волнах, достигла середины зала.

Между прочим, научно-практическая конференция (в афишах почему-то значилось «научно-теоретическая») «Возрастание духовных запросов советских людей и задачи коммунистов района в деле повышения уровня культурно-массовой работы среди населения» проводилась в канун важнейшего отчета, с которым БМП готовился выступить через два дня на бюро горкома партии. По задумке Бусыгина, конференция должна была продемонстрировать небывалое единение краснопролетарского лидера с широкими народными массами. На оперативном совещании секретарей первичек Бусыгин пообещал ответить на любые, даже непарламентские вопросы участников конференции, слух об этом прокатился по району, и обычно пустой до гулкости ДК «Знамя» заполнился настолько, что сидели даже в проходах.

...Когда телевизионщики, вдруг слетевшиеся на заурядное районное мероприятие, вырубili юпитеры, приберегая пленку для обещанных ответов на вопросы, а сам БМП вернулся в президиум и, кривовато усмехаясь, стал одним ухом слушать одобрителный шепот заведующего отделом горкома Юрия Семеновича Иванушкина, а другим – просторный, как песнь ашуга, основной доклад профессора Желябьева, записку наконец прибило к празднично оформленной сцене. Инструктор Голованов, затем и посаженный в первый ряд, принял вчетверо сложенную тетрадную страничку, оглядел ее и с вдумчивой деловитостью, хорошо заметной из президиума, опустил бумажку в специальный полированный ящик, стоявший между двумя сооружениями из цветов, которые, между прочим, воздвигла знаменитая икебанщица. Она всерьез уверяла, что ее композиция в художественной совокупности символизирует свежий ветер обновления и поистине революционные преобразования, случившиеся за последнее время в стране в целом и в районе в частности.

Увидав поступившую записку, Бусыгин и Иванушкин значительно переглянулись: мол, конференция еще, считай, не началась, а контакт с аудиторией уже установлен, что, несо-

мненно, свидетельствует о возросшей политической зрелости и гражданской заинтересованности районного актива. А ведь еще совсем недавно на подобные массовые отсидки людей просто-напросто загоняли или же заманивали, суля в перерывах торговлю съестными и книжными дефицитами. В том, как они глянули друг на друга, был и еще один, особенный, оттенок: дескать, что ни говори, а от первого лица мно-о-гое зависит!

Пока Бусыгин и Иванушкин переглядывались, из-за кулис, где помещался столик стенографисток, заманчивой походкой манекенщицы вышла сотрудница сектора учета райкома партии Аллочка Ашукина, которую неизменно отмобилизовывали для работы с записками на сцене, и еще безвременно ушедший на пенсию Ковалевский, проводя планерку перед очередным массовым мероприятием, задумчиво говаривал: «А записочки пусть носит эта... хорошенькая». И грустно улыбался, вспоминая, наверное, о том, что, кроме сводок по плану, жилищной проблемы, выше- и нижестоящих товарищей, есть, оказывается, еще и молодые, цветущие женщины с тонкими, как у песочных часов, талиями. Ковалевский был руководителем старой закваски, скромным, непритязательным человеком, беззаветно преданным партии за ту безграничную власть над людьми, каковую она дает своим избранникам. Если б ему вдруг предложили: Владимир Сергеевич, выбирай – черная машина у подъезда, чудесная квартира в центре Москвы, еженедельная неподъемная «авоська», спецдача, спецмедобслуживание, спецзагранкомандировки, с одной стороны, или обыкновенный, цвета слоновой кости телефон с маленьким золотеньким гербом державы на диске, – он, Ковалевский, сказал бы не задумываясь: «Телефон!»

БМП, с маху поменявший в райкоме почти все, что пахло духом предшественника, поменявший так твердо и жестко, что один из вышвырнутых аппаратчиков застрелился у себя на даче, – Ашукину почему-то оставил при исполнении привычных для нее обязанностей... И вот Аллочка обольстительно подошла к полированному ящичку, изящно наклонилась, так, что из низкого выреза блузки выскользнул и закачался на цепочке кулон-сердечко, потом плавно распрямилась и понесла записку прямо в президиум, а не на сортировку в секретариат, как бывало раньше. Не подымая тщательно подведенных глаз, она положила ее перед Бусыгиным, который уже не раз заявлял, что между руководителем и массой не должно быть посредников.

Отметим: как только Ашукина начала свое движение к столу президиума, Юрий Семенович Иванушкин внезапно озаботился, оглянулся назад и стал призывно озирать кулисы. Буквально тут же к нему подскочил инструктор горкома. Иванушкин, взяв его за пуговицу, начал давать какие-то срочные поручения и давал их до тех самых пор, пока Аллочка не вернулась к столику стенографисток. Лет десять назад, когда Ашукина работала еще в секторе учета райкома комсомола, а Юрий Семенович трудился инструктором райкома партии, у них была некая история, чуть не стоившая Иванушкину карьеры. Кстати, фамилия его и внешность необычайно соответствовали друг другу: русые кудри, конопушки и добрые синие, чуть грустные глаза. В молодости, будучи аспирантом кафедры фольклористики пединститута, он получил забавное прозвище: «Убивец»... Но об этом позже.

Пока Иванушкин общался со своим инструктором, Бусыгин взял записку, повертел в руках и прочитал: «Тов. Чистякову В. П. (лично)». БМП удивленно поднял правую бровь, сложил тонкие губы в трубочку и, подавшись вперед, глянул на притулившегося с краю президиумного стола секретаря райкома партии по идеологии Валерия Павловича Чистякова, который как раз наливал себе минеральной воды, с трудом сохраняя выражение профессиональной доброжелательности на усталом лице. Во взгляде Бусыгина не было ни ехидства, ни раздражения, а только некое недоброе любопытство, отчего Чистяков, один из последних людей Ковалевского и даже, как поговаривали, его любимец и несостоявшийся преемник, похолодел, отставил стакан с минеральной водой и принялся делать неотложные пометки в еженедельнике.

Записка по рукам двинулась к Валерию Павловичу, и каждый, кто брал ее и передавал дальше, старался в меру своих способностей воспроизвести на физиономии то самое выраже-

ние, какое мелькнуло только что у первого секретаря. Получив сложенный листочек, Чистяков не стал его разворачивать, а небрежно бросил перед собой и как бы сразу забыл о нем, увлеченный докладом профессора Желябьева, метавшего политически выверенные молнии в рок-музыку, которая, словно раковая опухоль, разъедает внутренний мир советской молодежи, сбивая ее с активной жизненной позиции на кривую дорожку социальной апатии...

Рядышком с Чистяковым сидел зампред райисполкома Василий Иванович Мушковец – тоже один из обломков мощной команды Ковалевского, рассеянной порывом номенклатурной бури. В президиумах Мушковец обычно подремывал, заслонившись от мира привезенными из Италии дымчатыми очками с нарисованными на стеклах широко раскрытыми вдумчивыми глазами, или же рисовал многоцветной японской авторучкой исключительно кузнечиков, которые получались у него настолько правдоподобно, что, казалось, вот-вот какая-нибудь из тварей щелкнет с листа и защекочет за шиворотом.

Василий Иванович состоял другом дома и даже дальним родственником Чистякова по линии жены, в зампредах сидел давно, лет пятнадцать, и в районе у него, как сам он любил выражаться, все было схвачено и задушено. До прихода БМП, разумеется. Валерий Павлович и Василий Иванович много лет вместе ездили рыбачить на потаенный водоем, который чудом обошло всеобщее рыбное оскудение, посещали по субботам четвертое автохозяйство с его замечательной баней (о ее существовании шоферы и не ведали), а иногда, в редкое свободное воскресенье, они сходились семьями и расписывали «пульку». До недавнего времени и в президиумах родственники садились рядом, перешептывались, сплетничали, решали мелкие проблемки. Но вот однажды Бусыгин приподнял правую бровь и совершенно серьезно пошутил насчет «неразлучной парочки заговорщиков». С тех пор они зареклись появляться вместе, и только сегодня, задержавшись на заседании жилищной комиссии, Мушковец вынужден был сесть на единственный свободный стул рядом с Чистяковым.

Василий Иванович задумчиво дорисовал у очередного кузнечика длинные усики и, чуть наклонившись к Валерию Павловичу, тихо спросил:

– От кого?

– Не знаю, – отозвался Чистяков, лениво взял записку, развернул и прочитал:

«Уважаемый Валерий Павлович!

Прошу простить за беспокойство, но мне необходимо с Вами поговорить по вопросу исключительной важности. Прошу Вас во время перерыва подойти к стенду “Досуг в районе”. Буду ждать.

Н. А. Печерникова».

Все это было написано четким и ровным учительским почерком, без помарок, и только в слове «Вами» строчная буква «в» была аккуратно исправлена на прописную.

– Печерникова... – встревожился Мушковец, ознакомившись с запиской через плечо секретаря райкома. – Печерникова... Кто это?

– Не знаю, – пожал плечами Чистяков и провел ладонью по своим рано и красиво поседевшим волосам.

– Только не надо из меня барбоса делать! – тихо возмутился Василий Иванович. – Не надо мне свистеть, что это очередная жертва перестройки к тебе, Валера, за правдой прорывается! Чего она хочет? Сейчас все опасно! Ты посмотри на БМП, это же не человек, это машина для отрывания голов...

Мушковец шептал страстно, но замерев лицом и не разжимая губ, точно чревоуещатель, а Чистяков в ответ размеренно кивал головой, будто бы речь шла о чем-то идеологически важном и непосредственно связанном с сегодняшней конференцией.

– Печерникова... Печерникова... – тужился вспомнить Мушковец. – По жилью она у меня не проходит. Кто такая?

– Понятия не имею, – спокойно ответил Валерий Павлович и положил записку в карман.

* * *

Двенадцать лет назад Надя Печерникова и Валера Чистяков чуть-чуть не поженились. Он в ту пору был аспирантом кафедры истории СССР, собирал материалы для диссертации об аграрной политике социалистов-революционеров, жил в общежитии в одной комнате с Юркой Иванушкиным, последними словами костерил администраторов и пустолобов от науки, тормозивших утверждение темы, и если бы кто-нибудь в ту пору нагадал ему судьбу удачливого партийного кадра, то Чистяков только бы рассмеялся и посоветовал предсказателю больше не похмеляться техническими спиртовыми растворами.

Надя Печерникова поступила в аспирантуру годом позже. Она, как и Валера, сначала поработала учителем старших классов и школьную программу по истории называла не иначе как «Сказки тетюшки КПСС», с чем будущий секретарь райкома партии по идеологии был полностью согласен. Надя собиралась писать о реформах Столыпина, имела о знаменитом премьер-министре и его заслугах перед Отечеством свое собственное, отличное от общепринятого, мнение, менять его не собиралась, на компромиссы идти не желала, из-за чего, собственно, и не задалась впоследствии ее научная карьера. О таких людях, как Печерникова, Василий Иванович Мушковец говорил: «По белой нитке ходит!»

До сих пор Чистяков отлично помнил первое появление Нади. Осенью 1976-го, после каникул, собрали заседание кафедры, совершенно уникальное по занудству и тягостности, где обсуждали проект плана работы на новый учебный год, скучно спорили по каждому пункту, и Желябьев, тогда еще доцент и секретарь партийного бюро факультета, в сердцах даже надерзил заведующему кафедрой профессору Заславскому, хотя, впрочем, все отлично понимали: как только план утвердят, сначала про него на несколько месяцев просто забудут, а потом при торможенная лаборантка Люся потеряет все до единого экземпляра.

Надя вошла в комнату в тот самый момент, когда доцент Желябьев хорошо поставленным лекторским голосом доказывал, что неумение планировать исследования – бич советской науки. Все оглянулись на застывшую в дверях девушку, одетую в тугие вельветовые джинсы и свободную кофточку, волосы у нее были перехвачены обычной аптекарской резинкой, а через плечо болталась замшевая сумка с какой-то совершенно индейской бахромой. Доцент капризно сморщил ухоженное личико и по-кошачьи махнул лапкой: мол, закройте, милочка, дверь с той стороны...

Однако бравадный профессор Заславский неожиданно вскочил со своего председательского места, галантно приблизился к девушке, взял ее за руку и вывел на середину комнаты, как в театре выводят на авансцену якобы засмущавшуюся приму.

«Это наша новая аспирантка Надежда Александровна Печерникова!» – представил он. «Извините... Я очень долго ждала троллейбус...» – смущенно проговорила Надя.

Кафедральные старички тут же со знанием дела оглядели и оценили гостью. О старая профессорско-преподавательская гвардия! В тридцатые – пятидесятые они не пропускали мимо ни одной смазливой аспиранточки, влюблялись с размахом и безоглядно, щедро оставляя бывшим женам квартиры на улице Горького со всем антикварным хламом, унося в новую жизнь только маленькие чемоданчики с бельем да связочки любимых книг. Это они, они воздвигли в столице первые кооперативные квартиры! Теперь таких застройщиков давно уже нет, так как профессорского жалованья с трудом хватает и на одну семью...

Потом, все еще держа новую аспирантку за руку, профессор Заславский сообщил, что писать сия отважная девица собирается о Петре Аркадьевиче Столыпине. Кафедральные старички с пониманием переглянулись: в молодости они тоже мечтали стать честными летописцами эпохи, но хотелось бы знать, что понаписал бы тот же Нестор, когда б у него за спиной

дежурил сержант НКВД с наганом. А доцент Желябьев покачал головой и с нежной грустью поглядел на симпатичную дурочку, которая наивно полагает, что историки пишут чепуху исключительно по причине незнания истории...

Наконец профессор Заславский усадил Надю рядом с Чистяковым, по-мужски подмигнул Валере и предложил продолжить обсуждение плана. Надя достала из сумки новенькую общую тетрадь, с треском раскрыла ее и ровным учительским почерком вывела: «Заседание кафедры», подчеркнула написанное двумя линиями и поставила знак вопроса, а потом, подумав немного, обвела все это узорчатой рамочкой.

Тем временем профессор Заславский, распушив хвост, начал рассказывать про то, как некогда ездил во Владимир к знаменитому монархисту Шульгину. «Неужели умный человек может быть монархистом?!» – перебил заведующего кафедрой доцент Желябьев. «Почему бы нет, если умный человек может быть сталинистом!» – покосившись на Надю, парировал Заславский, в свое время чуть было не загремевший по делу космополитов и низкопоклонников.

Но Чистяков не вслушивался в завязавшийся спор, он, рискуя нажать косоглазие, старался получше разглядеть новую аспирантку: у нее были смуглое лицо, нос с горбинкой и странная манера прикусывать нижнюю губу для того, чтобы скрыть ненужную улыбку.

Надя тем временем изобразила на страничке запутанный лабиринт со множеством коридоров и одним-единственным выходом. Чистяков настолько увлекся этим рисунком, что забылся и совсем уж неприлично устался в ее тетрадь. «Вас как зовут?» – спросила она и повернула тетрадь так, чтобы ему удобнее было разглядеть рисунок. «Валерий Павлович...» – ответил Чистяков, уже отравленный академическими церемониями. Надя внимательно посмотрела на него, прикусила губу и объяснила: «Это тест. Нужно выбраться из лабиринта...» – «Зачем?» – тупея от непонятного волнения, спросил он. «А это, Валерий Павлович, я вам потом объясню...»

Чистяков немного подумал и твердо проложил авторучкой путь к единственному выходу, только возле одной развилки он малость замялся и двинулся, ожидая подвоха, не короткой дорогой, а наоборот – самой длинной. «Мда, – нахмурилась Надя, что-то прикидывая. – Значит, так: вас, Валерий Павлович, ждет блестящая научная карьера, но в личной жизни, боюсь, не повезет». – «А если бы я пошел другим путем?» – заволновался Чистяков. «Ну тогда бы у вас была роскошная личная жизнь и большие трудности в науке!» – сообщила Надя и добавила: – Но первое слово дороже второго!..»

Услыхав это трогательное детское присловье, он наконец решился и посмотрел ей прямо в глаза – большие, светло-карие и абсолютно несерьезные.

«...А вы знаете, что говорил мне Шульгин на прощанье? – вдруг возвысил голос профессор Заславский и ревниво обратился к новой аспирантке: – Вы, голубушка Надежда Александровна, тоже послушайте! Он сказал мне, что во избежание будущих смутных времен нужно в СССР ввести наследование политической власти. Династию!..» «Мифологическое мышление!» – усмехнулся Желябьев. «Мышление!» – вполголоса согласился доцент. – Мышление старого склеротика...» Поскольку направленность этих слов, как выражаются ученые, была амбивалентна, вся кафедра тревожно замерла, ожидая взрыва...

«Апофегей», – наклонившись к Чистякову, доверительно прошептала Надя. «Что?» – не понял Валера. «Я говорю, у вас здесь всегда так?» – «Почти всегда...» «Полный апофегей!»

Томительное беспокойство, поселившееся в душе после того памятного заседания, Чистяков, полагавший себя достаточно опытным мужчиной, квалифицировал как легкое влечение к новой хорошенькой аспирантке. Это была ошибка: он жестоко влюбился.

Потом почти полгода они встречались на лекциях, заседаниях кафедры, в институтской столовой, которую называли «тошниловкой», в Исторической библиотеке... Входя в большой читальный зал № 1, Валера почти сразу отыскивал среди десятков склонившихся над кни-

гами голов ее перетянутый аптечной резинкой хвостик, усаживался поближе, как бы невзначай встречался с ней глазами, потом они вместе шли в буфет или курилку и разговаривали – обо всем: о полном маразме профессорско-преподавательского состава, о явных переменах в интимной жизни студентов (на последней лекции они сидели не в той комбинации, как прежде), о стрельбе по-македонски, об уморительной оговорке, которой порадовал общественность на недавнем пленуме державный бровеносец... Надя ко всему на свете, включая собственные неприятности, относилась иронически. «Надо быть большим пакостником, – говорила она, имея в виду Бога, – чтобы в конце до слез забавной жизни поставить такую несмешную штуку, как смерть... А может быть, это тоже юмор, только черный?!»

Аспирантам второго года обучения родина иногда доверяла ведение семинарских занятий. Однажды, когда Чистяков, изнемогая от чувства собственной значимости, выяснял, что же осталось от лекций в головах студентов третьего курса, доцент Желябьев зачем-то привел в аудиторию несколько аспирантов и среди них – Надю. Потом, в «исторической» курилке, она как бы между прочим сообщила, что, по ее наблюдениям, на Валерия Павловича «запала» студентка Кутепова, дочка крупного партийного босса. Надя настоятельно советовала воспользоваться ситуацией и прорваться поближе к кормушке, которую в 1917-м отняли у помещиков и капиталистов, но потом как-то забыли передать рабочим и крестьянам.

С грустью и бессилием наблюдал Чистяков, как его отношения с Надей приобретают оттенок необратимого товарищества.

В те баснословные годы во дни торжеств народных на кафедре устраивались праздничные посиделки: сдвигались столы, из шкапа извлекалась зеленая скатерть, та самая, что использовалась и во время защит. Кафедральные мужчины доставали из портфелей водочку и коньячок, женщины – пирожки, огурчики, банки с салатами собственного приготовления. Во главе стола садился профессор Заславский, он и провозглашал первый тост за советскую историческую науку и ее подвижников – надо понимать, всех присутствующих. Правда, в конце гулянья, неизменно набравшись, он впадал в черную меланхолию и бормотал, что нет у нас никакой исторической науки – одна лишь лакейская мифология. Эта фраза являлась общеизвестным сигналом – и самый молоденький аспирант мчался ловить такси, потом происходили торжественный вынос профессорского тела и бережная укладка оногo в автомобиль. А посиделки продолжались до тех пор, пока не вваливался комендант здания, отставной подполковник, и заявлял, что пора, дескать, и честь знать, что даже кафедра научного коммунизма уже по домам разошлась; ему наливали стакан, он выпивал, давал еще полчаса на «помывку посуды и приборку помещения», после чего грозился опечатать кафедру со всеми ее сотрудниками.

Тогда, в апреле, все произошло по этой раз и навсегда укоренившейся традиции. Сначала коллектив кафедры, дружно вышедший на субботник, жег прошлогоднюю листву и разбирал завалы мусора, оставленные строителями, которые осенью всего-навсего подкрасили фасад флигеля, где располагался исторический факультет. Потом появилась зеленая скатерть-самопьянка, как называла ее Надя, и профессор Заславский поднял первый тост... После того как комендант пообещал опечатать помещение и еще почему-то вызвать милицию, доцент Желябьев предложил Печерниковой и Чистякову поехать к нему в гости, «на холостяцкое пепелище», и продолжить праздник!

Доцент поймал частника, по пути они заскочили в детский сад, там, оказывается, тоже был субботник, и прихватили с собой юную воспитательницу. В недавнем прошлом супругой Желябьева состояла самая молодая в республике докторша наук, ушедшая от него к члену-корреспонденту, выступавшему оппонентом на ее защите. С тех пор, по мнению Нади, доцент получил какой-то чисто фрейдистский комплекс и теперь мог общаться исключительно с женщинами элементарных профессий. Воспитательница – ее имя Чистяков давно забыл – смотрела своему ученому другу в рот и громко прыскала в ответ на каждую его шуточку или даже обычно сказанное слово.

Трехкомнатное «холостяцкое пепелище» располагалось в большом сером доме на проспекте Мира. Валера, до окончания школы теснившийся вместе с родителями и сестрой в пятнадцатиметровой комнате заводского общежития, где, дабы поутру попасть в уборную, нужно было потоптаться в очереди, потом два года живший в казарме, затем пять лет занимавший койку в четырехместном номере студенческой общаги, а теперь вот сибаритствовавший в аспирантском общежитии, имея под боком всего одного соседа, попадая на такую необъятную, по его представлениям, жилплощадь, начинал мучиться страшной завистью и самой настоящей классовой неприязнью.

Желябьев происходил из потомственной профессорской семьи; в комнатах стояла хорошая красная мебель с завитушками, на стенах висели картины в золоченых багетах и старинные фотографии в деревянных рамках, а над бескрайней гостиной нависала огромная люстра, хрустальная, почти такая же, как и в актовом зале их родного педагогического института, где до революции располагался пансион благородных девиц.

«Это – Мурильо! – кивнул Желябьев на одну из картин, изображавшую Мадонну с озорничающим богочеловеком. – А это – мой дед, приват-доцент Московского университета». – «Какого? – съязвила Надя. – В Москве было два университета...» – «Имени Патриса Лумумбы, – меланхолично пошутил доцент и по-кошачьи махнул ручкой. Потом он открыл бар, внутри которого тут же зажглась лампочка и заиграла музыка. – Расширим сосуды и сдвинем их разом!»

Болтали о кафедральных делах, травили анекдоты, Желябьев рассказал смешную историю о том, как во время защиты его бывшей жены комендант привел в актовый зал команду тараканоотравителей в белых халатах, марлевых повязках и с опрыскивателями в руках. Кто-то что-то перепутал. Слабенькая воспитательница внимательно слушала, хихикала и безуспешно старалась подцепить с тарелки скользкий маринованный гриб, после очередной неудачи она удивленно подносила к глазам и недоверчиво рассматривала вилку.

Потом доцент, писавший докторскую о гражданской войне на Украине, ни с того ни с сего сообщил, что, по его глубокому убеждению, Нестор Иванович Махно напрасно повернул тачанки против Советской власти, осерчав на нехорошее отношение комиссаров к крестьянам. Если б не этот глупый шаг, батяня так и остался бы легендарным героем, вроде Чапая, кавалером ордена Красного Знамени, а Гуляйполе вполне могло называться сегодня Махновском. «А тамошние дети, – подхватила Надя, – вступая в пионеры, клялись бы: “Мы, юные махновцы...”»

Отсмеявшись, Желябьев посерьезнел и сообщил, что все это, конечно, так, но время для подобной информации еще не пришло и вообще народное сознание не сможет переварить всей правды о гражданской войне. «Во-первых, – без тени улыбки возразила Надя, – народное сознание – не желудок, а во-вторых, не нужно делать из народа дебила, который не в состоянии осмыслить то, что сам же и пережил!» Доцент в ответ только покачал головой и выразил серьезные опасения по поводу научных перспектив аспирантки Печерниковой. Потом с галантностью потомственного интеллигента он предложил совершенно одуревшей от алкоголя и светского обхождения воспитательнице пройти в другую комнату и взглянуть на уникальное издание Энгельса с восхитительными бранными пометками князя Кропоткина. Они удалились в библиотеку.

Надя, прикусив губу, разглядывала фамильный серебряный нож с ручкой в виде русалки, а Чистяков, потев от вожделения и смущения, вдруг придвинулся к ней и неловко обнял за плечи. «Мне не холодно», – спокойно ответила она, удивленно глянула на Валеру и высвободилась. Они посидели молча. В библиотеке что-то тяжело упало на пол. «Полный апофегей!» – вздохнула Надя. «Что?» – «Это я сама придумала, – объяснила она. – Гибрид апофеоза и апогея. Получается: а-по-фе-гей...» – «Ну и что этот гибрид означает?» – спросил Чистяков, непорочно тупевший в присутствии Печерниковой. «Ничего. Просто – апофегей...» – «Меж-

дометие, что ли?» – назло себе же настаивал Валера. «До чего доводит людей кандидатский минимум!» – вздохнула Надя и пригорюнилась. Чистяков почувствовал, как по всему телу разливается сладкая обида. В соседней комнате разбили что-то стеклянное.

«Ты думаешь, я не умею врать?! – вдруг горячо заговорила Надя. – Умею! Знаешь, как роскошно я врал в детстве? Меня почти никогда не наказывали – всегда отвиралась. Однажды я была на дне рождения у подружки и сперла американскую куклу, такую потрясающую блондинку, с грудью, попкой – не то что эти наши пластмассовые гермафродиты. А когда меня застукали, я снова отовралась: сказала, будто бы кукла сама напросилась ко мне в гости... Теперь-то я понимаю, родители боролись за сохранение семьи, и я была их знаменем в этой борьбе. А как выпорешь зная? Но ведь так вели себя родители по отношению ко мне, глупой соплячке. А когда то же самое делается по отношению к взрослым, серьезным людям! Ты что-нибудь понимаешь?» – «Не понимаю», – сказал Чистяков и положил на ее колено свою ладонь. Надя терпеливо сняла неугомонную руку, определила ее на собственное чистяковское колено, потом, покосившись на дверь, из-за которой доносились теперь голубиные стоны, сообщила, что у Валерия Павловича нездоровое чувство коллективизма.

Вернулись сладострастники. Воспитательница озиравшись расширенными глазами и неверными движениями поправляла растрепавшуюся прическу, а у Желябьева был вид человека, очередной раз проигравшего в лотерею.

Глубокой ночью Валера провожал Надю домой. Шли пешком по проспекту Мира. Ночные светофоры мигали желтыми огнями, и казалось, они передают по цепочке некое спешное донесение, может быть, о том, как аспирантка Печерникова поставила на место неизвестно что себе вообразившего аспиранта Чистякова.

По дороге Надя рассказывала, что живет в Свиблово, в однокомнатной «хрущобе», вместе с мамульком (почему-то именно так она называла свою мать). Отец, нынче директор здорovenного НИИ, ушел от них очень давно, мамулек многие лета изображала из себя эдакую свиловскую Сольвейг, но теперь у нее наконец-то начался ренессанс личной жизни, кватроченто... В этой связи планы у Нади такие: выдать мамулька замуж за образовавшегося поклонника, а уж потом и самой заарканить какого-нибудь потомственного доцента, вроде Желябьева, и обеспечить себе человеческую жизнь в том идиотском обществе, которое рождено, чтоб Кафку сделать былью; подарить мужу наследника, а затем уж заняться настоящей личной жизнью – изменять с каждым стройным, загорелым мужиком, катающимся на горных лыжах или на худой конец играющим в большой теннис...

Чистяков слушал Надину болтовню и чувствовал в сердце холодную оторопь. Он-то, за свои двадцать семь лет знавший девиц и жен без числа, прекрасно понимал: весь этот легкомысленный попутный щебет – на самом деле вполне серьезное признание в дружбе и одновременно объяснение в нелюбви...

В сентябре, как обычно, поехали «на картошку» в Раменский район, студенты – работать, аспиранты и молодые преподаватели – надзирать за ними. Жили в типовых щелястых домиках, построенных специально для сезонников и прозванных почему-то «бунгало». Каждое утро, в восемь часов, после завтрака, о котором можно было сказать только то, что он горячий, полтора ста студентов под предводительством десятка бригадиров-аспирантов плелись на совхозное поле, чтобы выковыривать из земли и сортировать «корнеплод морковь» – именно так значилось в нарядах. Чистякову поручили руководить ватагой грузчиков – крепких парней-первокурсников, поступивших в институт сразу после армии. Они разъезжали по полю на полуторке и втаскивали в кузов гигантские авоськи, набитые «корнеплодом морковь», вызывавшим почему-то у греющихся на солнышке спозаранку пьяных совхозных аборигенов исключительно фаллические ассоциации.

А вечером собирались на ступеньках какого-нибудь «бунгало» и пели под гитару замечательные песни, от которых наворачивались сладкие слезы и жизнь обретала на мгновения грустный и прекрасный смысл.

Чистяков умел играть на гитаре. Давным-давно, когда Валера учился в школе, к ним в класс появился мужичок с балалайкой. Он исполнил русскую народную песню «Светит месяц, светит ясный» и призвал записываться в кружок струнных инструментов, организованный при Доме пионеров. Валера записался, ходил на занятия около года и немного выучился играть на балалайке-секунде, а когда через пару лет началось повальное увлечение гитарами, успешно применил свои балалаечные навыки к шестиструнке. Правда, собственного инструмента выцыганить у родителей так и не удалось, но сосед по заводскому общежитию имел бренькающее изделие Мытищинского завода щипковых инструментов, при помощи которого они разучивали и исполняли разные песни:

В белом платье с по-яс-ко-ом
Я запомнил образ тво-ой...

Потом, на первом курсе педагогического института, Валера посещал театральное отделение факультета общественных профессий, руководимое каким-то отовсюду выгнанным, но очень самолюбивым деятелем. Этот режиссер-расстрига бесконечно ставил «Трех сестер» и постоянно грозился сделать такой спектакль, что «все эти творческие импотенты из разных там мхатов сдохнут от зависти». Чистяков должен был играть Соленого, а Соленый, в свою очередь, должен был появляться с гитарой, напевая жестокий романс. Соленого Валера так и не сыграл, потому что режиссера погнали за осквернение многовековой традицией, но не уважаемое законом влечение к юношам. Зато жестокие романсы петь выучился.

Там, «на картошке», Чистяков не уступал одетым в штормовки, бородатым и хрипатым под Высоцкого первокурсникам. «Валерпалыча на сцену! – кричала студентка Кутепова. – Валерпалыч, миленький, – “Проходит жизнь”! Ну пожалуйста!» Чистяков обреченно вздыхал, поднимался на крылечко «бунгало», брал гитару с еще теплым от чужих рук грифом, пробовал струны, хмурился, качал головой, начинал было настраивать инструмент, а потом вдруг – несколько резких аккордов, и:

Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи,
Проходит явь, проходит сон,
Любовь проходит, проходит все...
Но я люблю. Я люблю. Я люблю...

А для аспирантки Печерниковой, совершенно не отличавшейся от студенток в своем длинном, почти до колен свитере и модном, по-селянски повязанном платке, Валера каждый божий вечер пел ее любимую вещь:

Молода еще девица я была,
Наша армия в поход куда-то шла,
Вечерело. Я стояла у ворот –
А по улице все конница идет...

«Потрясающая точность деталей! – совершенно серьезно, без обычной иронии восхищалась Надя. – Огромная русская армия, растянувшись, ползет через маленький уездный городишко. Вечер, а еще не кончился даже конный авангард! Роскошно, правда?»

В черном холодном небе плыла луна, воздух пах ошеломляющей осенней прелью, и Чистяков пел, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а душа томится предчувствием единой для всех людей счастливой и безысходной доли:

Вот недавно – я вдовой уже была,
Четверых уж дочек замуж отдала, –
К нам заехал на квартиру генерал,
Весь простреленный, так жалобно стонал...

«Четырех уж девок замуж отдала! Какая потрясающая точность деталей!..» – передразнивала ехидная студентка Кутепова.

В одиннадцать вечера студентов гнали спать, они, естественно, ерепенились, заявляли, что, будучи взрослыми, дееспособными людьми, сами могут решать, когда им ложиться спать, с кем и ложиться ли вообще, что дома они именно так и поступают. Им, разумеется, отвечали, что они не дома, что из-за их ослиного упрямства и ребячества страдает производительность труда, не высыпаются бригадиры и что за нарушение производственной дисциплины можно запросто вылететь из вуза, куда они только-только с таким трудом поступили.

Потом нужно было с фонарями досматривать «бунгало», высвечивать каждую кровать, чтобы в девичьих помещениях не было парней, – и наоборот. Студентка Кутепова, целомудренно закрывшись одеялом до подбородка, во время каждого такого обхода плаксиво объявляла, будто дома не засыпает вообще, пока папа не поцелует ее в лобик, и требовала, чтобы именно Валерпалыч был ей «заместо отца родного». Под общий хохот Чистяков целовал ее в пахнувший пудрой лоб, и она тут же прикидывалась спящей.

Уложив студентов, аспиранты и преподаватели собирались в штабном «бунгало», пили чай и вино, валяли дурака, хохотали, а то вдруг начинали до хрипоты спорить о том, например, что означает фраза Чаадаева «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его враги». Или же разговор уходил в совершенно другую сторону, и аспирант кафедры фольклористики, «сокамерник» Чистякова по общежитию, Юра Иванушкин, старательно акая или окая, рассказывал срамные сказки Афанасьева, пел остросексуальные частушки и однажды уморил общественность, сообщив исконно народную классификацию достоинств мужского имущества: «щекотун» – «запридых» – «подсердечник» – «убивец». С тех пор Иванушкина так и прозвали – Убивец. Он тогда канал под пейзажника и показательно презирал всех, имеющих московскую прописку. «Вам-то, столичным, – причитал Убивец полудурашливо-полусерьезно, – все само в рот лезет. Опять-таки ЦПКиО имени Горького, гастроном имени Елисеева, метро имени Кагановича... А попробуйте-ка в школу за десять верст по первопутку побегать... В страну знаний! Волки: у-у-у!» Валера, ходивший в школу через дорогу, в самом деле начинал себя чувствовать зажавшимся барчуком или, как выражаются в армии, человеком Московской области, сокращенно – ЧМО.

Только потом, через год-два, совсем случайно, подмахивая характеристику, он узнал: жил Убивец в приличном районном центре, родитель его работал ни много ни мало директором крупного мясомолочного комплекса, а мать начальствовала во Дворце культуры. Элита, правда уездная...

Спать расходились обычно часа в два-три, а в семь уже вскакивали, умывались ледяной водой и, вибрируя от утреннего холода, расталкивали невменяемо-сонных студентов, которые втихаря тоже колобродили всю ночь. И ведь ничего: завтракали и, как выражалась Надя, бодренько отходили в поля, трудились, а вечером все начиналось сначала. А теперь вот поспишь вместо положенных восьми часов, скажем, шесть, и целый день скрипишь так, словно тебя палками отвалтузили.

На правах сокафедренника каждую ночь Чистяков провожал Надю до «бунгало», раскланивался и с протокольной учтивостью пожимал на прощание ее прохладную руку. Мысль о том, что она снова может одним недоуменным движением освободиться от его вахлацких объятий, заранее вгоняла Валеру в краску и парализовывала все желания. Наде в ту пору нравилось изображать увиденную в каком-то идиотском фильме молодую революционную женщину, до беспамятства влюбленную в слово «товарищ». «До свидания, товарищ! – говорила она на прощание понурому Чистякову. – Товарищ, выше голову! Скоро восстанет пролетариат Германии, товарищ!...» Этим все и заканчивалось.

Однажды, кажется за неделю до окончания сельхозработ, в поле случилось ЧП – внезапно кончилась тара, те самые гигантские авоськи, только теперь для «кочанной культуры капуста». Материально ответственный начальник совхозного склада запил, жена выгнала его из дому, и он исчез вместе со связкой ключей от сарая, где хранилась тара. Работа встала, студенты разбрелись кто куда, и тогда Чистякова отправили ходоком к начальству в центральную усадьбу, поручив заодно купить аспирину и еще чего-нибудь для простудившейся Наденьки Печерниковой.

Валера на попутке добрался до дирекции, устроил там бурю, обещал всех снимать с должностей и настойчиво спрашивал, где у них тут телефон, чтобы позвонить в обком партии, хотя, честно говоря, в те времена имел смутное представление о том, что это такое, если не считать Надиного выраженьица: «Обком звонит в колокол». Встревоженные буйным аспирантом, всеу упоминающим священную аббревиатуру, совхозные начальники стали названивать в свое неблагополучное подразделение, подняли всех на ноги – и кладовщик был найден: он спал в том самом сарае на тех самых авоськах за дверьми, запертыми снаружи на большой амбарный замок, причем связка ключей мистически оказалась в кармане его телогрейки.

Уладив производственный конфликт, Чистяков заглянул в аптеку, добыл аспирин и горчичников, в сельпо ему «свешали» полкило засахарившегося, похожего на топленое масло меду, а в книжном магазине рядом с автобусной остановкой в свалке произведений писателей-гертруд (так Надя называла Героев Социалистического Труда) он нашел книжечку своего любимого Бунина с несколькими рассказами из «Темных аллея».

В лагере было пустынно, только с кухни слышались смех и запах подгоревшей гречки: кашеварили первокурсники, которые и яичницу-то толком поджарить не умели. У забора два упитанных серых кота, сблизив морды, зловеще гундели, но не решались начать драку.

Надя, очень серьезная, лежала в постели и читала с карандашом в руке, на ней был свитер, она была бледнее, чем обычно, губы запеклись. Чистяков с больничными предосторожностями скорбно присел на край кровати, положил на тумбочку лекарства, мед и проговорил: «Бедная Надежда Александровна!» – «Ничего, товарищ! Я вернусь в строй, товарищ!» – улыбнувшись, отозвалась она охрипшим голосом. «Может, еще чего принести?» – спросил Валера. «Большое вам спасибо, товарищ!» – вымолвила Надя и закашляла. «Пожалуйста», – ответил Чистяков и машинально, проверяя температуру, приложил ладонь к ее лбу, и вдруг ему почудилось, что Надя не отстранилась, а, наоборот, чуть-чуть даже подалась навстречу его руке. «Тридцать восемь, – пробормотал он и, словно убеждаясь, провел пальцем по ее щеке. – Определенно тридцать восемь...» И тогда Надя, повернув голову, коснулась шершавыми губами его ладони. Чистяков почувствовал в теле какую-то глупую невесомость и наклонился к Наде, но она отрицательно замотала головой, отчего ее не скрепленные обычной аптекарской резинкой волосы разметались по подушке: «Нельзя, товарищ... Инфлюэнца!» Даже в такую минуту она дурачилась. Валера ладонями сжал ее лицо и поцеловал прямо в сухие губы. «Не надо же... Войдут!» – прошептала она. Чистяков на ватных ногах прошагал к двери, набросил крючок и вернулся. Под свитером кожа у нее была горячая и потрясаяще нежная. «Занавески, товарищ!» – обреченно приказала Надя, и Валера пляшущими руками задернул шторы с изображением слонов, перетаскивающих бревна. «Товарищ, что вы делаете, товарищ!» – шептала она, обнимая его. –

Боже мой, в антисанитарных условиях!» Старая панцирная сетка, совершенно не рассчитанная на задыхающегося от счастья Чистякова, гремела, казалось, на весь лагерь. А в то мгновение, когда они стали «едина плоть», Надя прерывисто вздохнула и тихонько застонала...

Через несколько дней, возвращаясь на автобусах в Москву, сделали в дороге вынужденную остановку: мальчики – налево, девочки – направо. Рядом с Чистяковым пристроился Убийца. «А ты, Чистюля, шустрый мужик!» – сказал он. «Не понял», – отозвался Валера. «Вестимо, – согласился Иванушкин. – Перетрудил головку-то...» Застегнулся и пошел к автобусу.

После этого разговора счастливые обладатели друг друга посовещались и решили вести себя так, чтобы никто не догадывался об их отношениях, и не потому, что боялись, а просто не хотелось ловить на себе любопытствующие взгляды одряхлевших сексуальных террористов тридцатых годов и слушать их туманные рассуждения про то, что последнюю кафедральную свадьбу играли в 1959-м. «Конспирация, конспирация и еще раз конспирация!» – с исторической картавинкой повторяла Надя.

Печерникова и Чистяков церемонно раскланивались, встречаясь возле дверей факультета, на заседаниях кафедры садились в разных углах комнаты, обедали порознь, даже старались на людях реже приближаться друг к другу, ибо в сущности были очень похожи на два металлических шара из школьного опыта: сдвинь их чуть поближе – и грянет молния...

Валера, наверное, совсем потерял бы голову, но ему приходилось постоянно ломать ее над вечным вопросом влюбленного советского человека: «Где?» Очень редко, когда Убийца уезжал в свой Волчехвостск к родителям подхарчиться, просачивались в аспирантское общежитие, но Иванушкин имел пакостную привычку приезжать совсем не в тот день, в какой обещал заранее, поэтому следовало быть начеку, а это, как известно, не способствует. Воротясь с большой спортивной сумкой, полной жратвы, Убийца щедро угощал Чистякова и, глядя, как тот ест, задумчиво рассуждал о том, что научные работницы, должно быть, очень темпераментны, потому что ведут сидячий образ жизни и кровь у них застаивается в малом тазу. Валера, уминая чудную колбасу, которая, по словам Убийцы, прямо с папашиного комплекса шла на стол членам Политбюро, не моргнув глазом отвечал, что по этой теории самыми сексуальными являются сотрудницы сберегательных касс. «Почему?» – удивлялся Иванушкин. «Потому что деньги вообще возбуждают», – отвечал Чистяков. «Вестимо», – соглашался Убийца и, нагнувшись, подбирал с пола оброненную Надину шпильку.

Иногда Бог посылал ключи от чьей-то временно пустующей квартиры, и Валере нравилось, как тщательно всякий раз Надя прибирается перед возвращением хозяев, стирая малейшие следы их великой и простой дружбы, точно сами хозяева и не догадываются, зачем оставляют ключи Двум молодым влюбленным пингвинам. И только в самых исключительных случаях, когда молния готова была жхнуть среди бела дня в многолюдном месте, они ехали в Надину «хрущобу» и полноценно использовали те два часа, которые мамулек проводила со своим новым спутником жизни в синематографе. Это у них называлось «скоротечный огневой контакт». Как у Богомолова в «Августе сорок четвертого».

Надя очень любила всему, в том числе и самому-самому, придумывать смешные прозвища и названия, из чего постепенно и складывался их альковный язык: нельзя же размножаться, как винтики, молчаливой штамповкой! Так, например, осязаемое вожеление Чистякова именовалось – «Голосую за мир». Упоительное совпадение самых замечательных ощущений получило название «Небывалое единение всех слоев советского общества», сокращенно «Небывалое единение». Последующая физическая усталость – «Головокружение от успехов», регулярные женские неприятности – «Временные трудности», а различного рода любовные изыски – «Введение в языкознание».

Однажды мамулек вкупе с другом жизни на целый день уехала в Загорск – приобщаться к благостине истинной веры. Наши герои-любовники, естественно, решили воспользоваться

такой редкой возможностью и с комфортом разучить доставшийся им на два дня индийский трактат «Цветок персика» в красочном штатовском издании с картинками и установочными рекомендациями. Но вот в момент «небывалого единения» внезапно раздался звук отпираемой двери и послышались голоса в прихожей. «Опять что-нибудь забыли! – простонала Надя и, набрасывая халат, распорядилась: – Будешь знакомиться! Я их задержу...»

Торопливо и бестолково одеваясь, Чистяков слышал, как за дверью мамулек повествует о том, что на Ярославском вокзале случилась совершенно непонятная трехчасовая пауза между электричками и что в Загорск они решили поехать на будущей неделе, а сегодня посидеть просто дома. Надя пыталась внушить им, что существует еще, например, Коломенское, куда можно добраться на метро, работающем бесперебойно... Дольше держать мамулька и ее друга жизни в прихожей было неприлично, дверь начала медленно приоткрываться, одевшийся Валера заранее изобразил на лице радость знакомства с родственниками девушки, за которой имеет счастье ухаживать, а в руки, чтобы скрыть дрожь и волнение, машинально взял «Цветок персика». На супере красовалась цветная фотография юной индийской пары, заплетенной в некий непонятный сладострастный узел. «А это мой коллега Валерий Павло... – светски начала Надя, но, увидев обложку, осеклась и, давась от хохота, смогла добавить только одно слово: – Апофегей!»

* * *

Профессор Желябьев добил воображаемого идейного противника большой ленинской цитатой и под ровный аплодисмент зала сошел с трибуны.

– Спасибо, Игорь Феликсович! – державно улынувшись, сказал Бусыгин и несколько раз энергично ударил в ладоши, показывая залу, как нужно благодарить докладчика за интересное выступление.

«Ковалевский, конечно, тоже воздал бы должное докладчику, но сначала глянул бы в программу, сверяя имя-отчество, а этот на память шпарит, душегуб!» – подумал Чистяков, мгновенно возвращаясь из Надиной «хрущобы» в большой зал ДК.

«Я очищу район от всей коррумпированной дряни! – Эти слова БМП произнес сразу после своего прихода, на первом же бюро райкома партии. – Кто не хочет работать по-новому, пусть уходит сам. Сам! Когда за дело возьмусь я, будет поздно...» Чистякова корбила даже не показательная жестокость нового шефа, странная для нынешнего поколения аппаратчиков, а святая уверенность Бусыгина в своем праве определять тех, кто нужен, и карать тех, кто не нужен. Словно прибыл БМП не из подмосковного городишка, где, извините, та же Советская власть со всеми ее достопримечательностями, а из некоего образцового царства-государства, эдакого Беловодья, которое сам создал и которое дает ему право учить прогнивших столичных функционеров уму-разуму...

«А может быть, – размышлял Валерий Павлович, – нас просто всех порешили убрать, вроде того как меняют поколения компьютеров или телевизоров? Такое уже было... А для удобства прислали эту, как точно выразился дядя Мушковец, машину для отрывания голов. Но почему же тогда просачиваются слухи, будто у БМП напряглись отношения с благодетелем и однокашником, посадившим его в райком? Что это? Надерзил по врожденной хамовитости или приобрел слишком большую популярность? Народу ведь нравится, когда летят головы, люди и бокс-то любят за то, что на ринге кого-то лупят по морде, кого-то, а не тебя... Или совсем другое: Бусыгин сам запускает дезу, чтобы расшевелить и выявить прикинувшихся друзьями врагов?.. Впрочем, нет, для него это слишком тонко...»

– Проснись и послушай! – Мушковец толкнул Чистякова в бок.

Валерий Павлович очнулся и напряг слух.

– Вот поэтому-то, – вещал БМП, – я и попросил профессора Желябьева написать свой доклад так, как подсказывает ему партийная совесть, и не показывать никому, даже секретарю райкома. А то, знаете, начеркают, насоветуют, люди потом слушают и ничего не понимают...

Зал захлопал. И докладчик пробирался на свое место в президиуме сквозь бесчисленные поздравительные рукопожатия. Желябьев всегда отличался нервической интеллигентской дисциплинированностью: приказывали – бегал согласовывать каждое слово, приказали быть самостоятельным – выполнил. Только откуда знать Бусыгину, что вчера вечером Игорь Феликсович тайно звонил Чистякову и слезно умолял просмотреть докладец хотя бы по диагонали, так, на всякий случай...

– Итак, – продолжал БМП, – научная база для серьезного разговора у нас имеется. Хорошая база. Без науки мы сегодня никуда. Но и без живого практического опыта тоже никуда. А носитель опыта – человек, конкретный человек! Вот давайте людей и послушаем. Разучились мы, по-моему, за последние годы людей-то слушать!..

Зал снова зааплодировал. Начались прения. Первым выступил директор Дворца культуры завода имени Цюрупы. У них там в актовом зале недавно вдребезги грохнулась большая хрустальная люстра, висевшая с прошлого века. Так вот, оратор сравнил падение культурных запросов трудящихся с падением этой самой люстры. Всем очень понравилось, и Бусыгин, пошептавшись с Иванушкиным, сделал какую-то пометку в блокноте. Хмурый официант, похожий на огромного стрижа, менял стаканы с теплым чаем, менялись на трибуне и люди.

Наконец объявили перерыв, и участники конференции метнулись к буфетным стойкам и лоткам книготорга, а президиум проследовал в комнату за сценой. Там, в отличие от недавних времен, не было севрюжно-икорного разврата, но имелись бутерброды с югославской ветчиной и крепкий чай. Бусыгин нехорошо обвел взглядом стены, обшитые темным деревом, мягкую финскую мебель, задержался на авторской копии известной картины «Караул устал», усмехнулся и бросил:

– Прямо-таки апартаменты...

– Стараемся, Михаил Петрович, – по-китайски закивал головой директор ДК.

– Оно и видно, – не по-доброму согласился БМП, надломив правую бровь. – Умеет столица жировать! Всю страну прожрет и не заметит...

Сказав это, Бусыгин подошел к столу, положил в чай один-единственный кусочек сахара и стал прихлебывать, не притронувшись к бутербродам. Остальные последовали его примеру. Мушковец постарался очутиться вблизи первого секретаря и, воспользовавшись случаем, завел разговор о задуманной вместе с Чистяковым серии мероприятий под условным названием «День рождения дома». В двух словах: молодые ребята из неформального объединения «Феникс» по субботам и воскресеньям восстанавливают ветхий жилфонд, имеющий историко-культурную ценность, а потом вокруг как бы возрожденного из пепла здания устраиваются народные гулянья с выступлением фольклорных и роковых ансамблей, лекциями краеведов, продажей прохладительных напитков и выпечки. БМП кивал, но лицо его было непроницаемо.

– Понимаете, Михаил Петрович, – канючил Мушковец, – на каждом таком доме теперь будут две мраморные таблички. Обычная: построен... архитектор... охраняется государством... И наша, особенная: дом восстановлен тогда-то, такими-то ребятами...

Не дослушав Василия Ивановича и даже ничего не сказав, Бусыгин вдруг широко распахнул объятия, дружественно заулыбался и пошел навстречу шупленькому пареньку-«афганцу», который наконец-то решился съесть бутерброд и от неожиданности уронил его на скатерть. Стакан чая из рук первого секретаря ловко перехватили, он крепко обнял «афганца», похлопал по спине и начал расспрашивать, когда тот воевал, ранен ли, за что получил орден Красную Звезду, как идет жизнь, нет ли проблем? Проблемы были: парень недавно женился, обзавелся ребенком, а жить негде...

БМП оглянулся на Мушковца и со словами: «Ну-ка, птица феникс, лети сюда!» – помахивал его пальцем.

Когда через минуту-другую Василия Ивановича отослали прочь и он обреченно подошел к Чистякову, лицо зампреда исполкома было покрыто сиреневыми пятнами.

– Все понял? – тихо спросил он и начал нервно поедать бутерброды.

– Понял, – кивнул Валерий Павлович, отлично знавший, что в районе десятки неустroенных «афганцев» и что проблема эта не решится, даже если Мушковца прилюдно расстреляют в скверике перед райкомом партии.

– Надо катапультироваться! – промямлил набитым ртом Василий Иванович. – Теперь пора – по белой нитке ходим!

– Нашел что-нибудь?

– Да так... Тебе тоже советую. Не слушал дядю Базиля. Сейчас бы шнырк на кафедру и отсиделся в науке!

Уже много лет опытный Мушковец твердил Чистякову, что тот делает огромную ошибку, не работая над докторской диссертацией, ибо кандидатов нынче столько развелось, плюнь за окно – попадешь в кандидата. Но легко сказать: защищайся! А если к концу рабочего дня в голове полумертвая мешанина да одно-единственное желание – доползти домой и смыть скорее с лица это изматывающее выражение доброжелательной заинтересованности и государственной озабоченности. И если вместо того, чтобы выпить свои законные двести граммов, без чего Чистяков уже много лет не засыпает, а потом расслабиться у камина или телевизора, каждый божий вечер садиться за книги, однажды это закончится тем, что тебя выведут из Исторички тупо улыбающимся и завернутым в смирительную рубашку. Кстати, о камине... Это была совершенно идиотская, застойная выходка: в городской квартире! со спецдымоходом!! в счет капремонта!!! И ведь Чистяков как чувствовал, до последнего отнекивался, мол, и с батареями не мерзну, а Мушковец стыдил, настаивал, других приводил в пример. БМП наверняка уже все знает, но помалкивает, потому что погреться у живого огонька захотелось не только Валерию Павловичу, и пока его теплолюбивые соседи будут сидеть на своих должностях, все будет тихо...

– Пойду прогуляюсь в фойе, – сообщил Чистяков и поставил стакан.

– К этой? Не ходи! – взмолился Василий Иванович. – Валера, я тебя прошу!..

Направляясь к двери, Чистяков лицом к лицу столкнулся с профессором Желябьевым, который даже поперхнулся чаем, сообразив, что вот сейчас прямо на глазах Бусыгина опальный секретарь может по старой дружбе обнять основного докладчика или в лучшем случае шумно поздравить его с прекрасным выступлением. И, как бы подтверждая эти опасения, Валерий Павлович немного замедлил шаг, но, увидев на потомственном профессорском личике смертельный испуг, презрительно усмехнулся и прошел мимо.

В фойе люди разминались перед новым двухчасовым сидением. Одни с недоумением разглядывали товар, только что сгоряча схваченный в околоприлавочной толчее, другие, собравшись группками, обсуждали ход конференции и очень хвалили Бусыгина.

Сквозь толпу активистов Чистяков продвигался медленно, многие знали его в лицо, бросались навстречу, тискали руку, он допускал, но любые попытки на ходу решить какой-нибудь горящий вопросик пресекал в корне: иначе до заветного стенда не добраться никогда. «Не-ет, люди меня знают, уважают! – думал секретарь райкома, чуть морщась от очередного крепкого рукопожатия. – Не-ет, мы еще поборемся!» Впрочем, краем глаза Чистяков заметил, что некоторые вхожие в райком низовые деятели, еще недавно кидавшиеся к нему с сыновней преданностью во взоре, подходить и здороваться не стали... «Вот она – желябьевщина!» – вздохнул Валерий Павлович и с гордостью припомнил, как сам он все-таки зашел в кабинет к «освобожденному» Ковалевскому проститься. Правда, зашел поздно вечером, когда в райкоме, кроме дежурного милиционера и шоферов, никого не осталось...

Надя Печерникова стояла возле стенда и, казалось, внимательно рассматривала диаграмму роста количества культурных учреждений в районе с 1917 года по настоящее время. С абсолютного нуля кривая взмывала вверх, потому что еще совсем недавно на месте Краснопролетарского района стояли там и сям деревеньки, а Божьи храмы диаграммой не учитывались.

Чистяков не видел Надю больше десяти лет, с того самого вечера, когда они на квартире Желябьева отмечали защиту чистяковской диссертации. Валерий Павлович почему-то готовился увидеть поблекшую, ярко покрашенную даму, которая, гримасничая увядшим лицом, будет намекать на их прошлые отношения, а потом что-нибудь обязательно попросит. Друзья молодости к нему просто так давно уже не ходят. И еще ему представлялось почему-то, что Печерникова непременно растолстела, оплыла и приобрела тот наступательный вид, какой замечаешь у людей, хорошо поработавших в школе или правоохранительных органах.

Но Надя почти не изменилась. Только вместо стянутого аптечной резинкой хвостика была модная короткая стрижка, а вместо затертых вельветовых джинсов – хороший темно-серый костюм, вроде тех, что были недавно в райкоме на выездной торговле: юбка, жакет и тонко подобранный легкий шарфик. Присмотревшись повнимательнее, Чистяков отметил, что она похудела, научилась интересно пользоваться косметикой, а глаза ее, прежде вызывающе несерьезные, погрустнели... И еще в ней появилась та очевидная замужняя строгость и недоступность, которая делает совершенно нелепыми и даже кошунственными воспоминания о том, будто некогда эта же самая женщина без сил лежала рядом с тобой на влажных от любви простынях и шептала тебе на ухо какую-то нежную и счастливую чепуху...

– Здравствуй, товарищ! – неожиданно для себя заговорил Чистяков. – Сколько же лет мы не виделись?

– Здравствуйте, Валерий Павлович, – тихо ответила Надя и протянула руку – пальцы у нее были все такие же хрупкие и прохладные.

– А я записку получил и все тебя в зале высматриваю... – смутился Чистяков, чувствуя, что по привычке заговорил так, как если бы оказался в заводском цехе или на строительной площадке во время плановой встречи с рабочим классом.

– Мы сидим на балконе, – объяснила Надя.

– Понял. Как жизнь? В школе работаешь – сеешь разумное, доброе, вечное?

– Доброе...

– Как супруг? Олег... Правильно? – энергично спрашивал Чистяков, злясь на себя за то, что теперь впал в стиль встречи выпускников.

– Правильно. У мужа вышла книга. В прошлом году...

– Молодец – настырный мужик! А вот ты, товарищ, науку зря забросила. На кафедре долго не могли поверить, что Печерникова сбежала! Заславский все твердил, что ты самая талантливая его аспирантка. А Заславский, царствие ему небесное, как Собакевич, мало кого хвалил... – Чистяков все говорил, а сам ждал, когда же она наконец, ободренная этими теплыми воспоминаниями о давних временах, решится и выложит свою просьбу.

«Очень интересно, что она попросит. Просто очень интересно!» – думал Валерий Павлович, а вслух продолжал:

– И Желябьев, основной наш докладчик, тоже тебя недавно вспоминал. Надумаешь вернуться в большую науку – поможем...

– Не до науки, Валерий Павлович, – ответила Надя.

– Дети? – понимающе улыбнулся Чистяков и почувствовал внезапно горькую обиду, которую сам себе объяснил так: как кошки, понародят ораву на двадцати метрах, а потом решай им жилищный вопрос – «афганцев» селить некуда!

Надя кивнула и прикусила губу, но не так, как раньше, чтобы скрыть ненужную улыбку, а совсем по-другому...

– Сколько же вы с Олегом настрогали? – усмехнулся Валерий Павлович.

– Сын... – вымолвила Надя, и по ее щекам покатались слезы. – Один. У него ХПН в терминальной стадии... И он совершенно не переносит гемодиализа...

– Не понял... Что? – оторопел Чистяков.

Оказалось, у Надиного сына хроническая почечная недостаточность в практически безнадежной стадии. Спасение одно – гемодиализ, регулярная перегонка, очищение крови через специальные фильтры. Но ребенок неизвестно почему от этих процедур просто чахнет на глазах, кости стали такие хрупкие, что за последний год трижды ходил в гипсе. Врачи в один голос говорят: трансплантация! А очередь на пересадку в Нефроцентре, который находится в Краснопролетарском районе, расписана на полтора года вперед и, главное, почти не движется из-за отсутствия донорских почек.

– Сочувствую... Надо подумать... Ну не плачь, пожалуйста... – бормотал Чистяков, а сам горько жалел, что не пришла она к нему полгода назад, при Ковалевском, когда Валерий Павлович решил бы этот пустячный вопрос одним звонком в партком Нефроцентра, да еще с прибавочками, с аппаратным матерком. – Где же ты раньше была, товарищ?

– Мы добивались... Мы писали... А там все без очереди идут. Если он умрет, я сойду с ума...

– Прекрати! – твердо приказал Чистяков. – Нерешаемых вопросов не бывает. Давай встретимся в следующем перерыве здесь же. Выше голову, товарищ!

– Правда? – переспросила Надя и посмотрела на него почти так же, как в тот давний день, когда он принес ей в «бунгало» лекарства и мед. А может, ему и показалось.

...После перерыва первым выступал ветеран труда, потомственный хлебопек, и очень жаловался, что поэты и композиторы до сих пор не написали ни одной песни о людях, регулярно доставляющих к нашему столу свежий душистый хлеб.

– Что же это получается – хлеб есть, а песен нет? – улыбнувшись, поинтересовался Бусыгин и шутливо погрозил пальцем сидевшему в первых рядах и представлявшему на конференции творческую интеллигенцию известному композитору, а тот в ответ многообещающе закивал: мол, сделаем!

– По белой нитке ходишь, Валера! – наклонившись, проговорил Мушковец. После перерыва он не стал отсаживаться от Чистякова, видимо рассчитав, что в таком случае факт их временного соседства станет еще заметнее. – Чего она от тебя хочет?

– Мы вместе учились в аспирантуре, – ответил Валерий Павлович.

– Тер ее небось по молодому делу? – осклабился Василий Иванович.

– Пошел к черту! – рассердился Чистяков. – Пацан у нее умирает. Почки. Пересадка нужна...

– Так я и знал, – поскущел Мушковец. – БМП Нефроцентр лично на контроле держит. Доворовались, мазурики!

Чистякову не нужно было объяснять, насколько трудно, невозможно выполнить сегодня Надину просьбу. Состоялось специальное заседание бюро райкома партии, на котором поперли из рядов заместителя директора и вклеили строгача секретарю парткома Нефроцентра за нарушение порядка госпитализации и очередности оперирования больных. Директор Нефроцентра своевременно перешел на другую работу, прислали нового – принципиального до тупости. Думали, этим кончится, так нет: по просьбам трудящихся пригнали жуткую комиссию, начали копать глубже, и всплыли факты чудовищных взяток (не последний человек в этом мире, Валерий Павлович даже не представлял себе, что бывают такие деньги!) – в общем, для нескольких граждан в белых халатах дело запахло совершенно иной спецодеждой.

Еще на том, разоблачительном, бюро Бусыгин сказал, что берет под личный контроль «этот опозорившийся Нефроцентр» и будет зорко следить за тем, чтобы исключения, без которых, увы, наша жизнь пока еще невозможна, делались действительно в исключительных слу-

чаях. Обратиться к БМП с нижайшей просьбой посодействовать госпитализации сына одной знакомой – значило тут же, на ковре, получить оскорбительный, грубый отказ, а такого в своем нынешнем положении позволить себе Чистяков не имел права, ведь отказ – очень удобный способ проверить, твердо ли стоит на ногах тот, кто просит. Сумеет настоять, надавить, решить через голову – значит, твердо и с ним нужно считаться. Не сумеет...

* * *

Профессору Заславскому позвонили из толстого журнала и попросили порекомендовать кого-нибудь, кто мог бы написать развернутый отклик на «Малую Землю», и он порекомендовал аспиранта Чистякова. Валера начал было отнекиваться, но ему ясно дали понять, что это задание кафедры. Отклик сочиняли вместе с Надей, лежа в постели, в паузах между небывалыми единениями, благо Убивец отъехал за харчами. Пили сухое вино и хохотали, как сумасшедшие, потому что текст наговаривали, подражая заплетающейся брежневской дикции. Надя придумала гениальную концовку: «Если в сердце твоём поселились сомнения, если душа ослабела в творческом полете, а тело устало в созидательном труде, – поезжай на эту опаленную огнем великую “Малую Землю”, где сражался отважный политрук. А не можешь поехать, сними с полки эту небольшую книгу, которая – лучше и не скажешь – “томов премногих тяжелей”».

Отклик напечатали за подписью Чистяков, заменив слово «сомнения» на слово «уныние», и выплатили гонорар шестьдесят четыре рубля тридцать семь копеек. Надя сказала, что деньги эти подхалимские и что у них есть единственный способ загладить свою вину перед историей – гонорар срочно пропить! Сначала они роскошествовали в ресторане «Узбекистан», потом перебрались в кафе-мороженое, а в завершение, купив на сдачу бутылку шампанского, поехали к хорошим знакомым, где их давно уже воспринимали как законную пару, – и там куролесили до глубокой ночи.

Наконец им постелили на кухоньке: головами они касались теплой батареи, а ногами – холодной эмали холодильника, шумно вздрагивавшего через равные промежутки времени. Хмельной и размякший, Валера страстным шепотом клялся Наде в любви и описывал свои чувства с такой бессовестной восточной цветистостью, что «единственная и судьбой посланная» смеялась, предлагала даже разбудить хозяев, чтобы были свидетелями, но сама при этом гладила Валеру по волосам и прижимала его голову к своей груди. «Надя! – вдруг сказал Чистяков. – Давай поженимся!» Но в этот самый момент холодильник прямо-таки подпрыгнул на месте и завибрировал с необыкновенным грохотом...

Мамулек с другом жизни уехала в дом отдыха по бесплатным профкомовским путевкам, и наши любострастники, ставшие, как выразилась Надя, счастливыми обладателями однокомнатной явочной квартиры, довели себя до полного головокружения от успехов. На очередном заседании кафедры профессор Заславский долго разглядывал совершенно одинаковые круги под глазами у двух сидящих в разных концах комнаты и почти не разговаривающих между собой аспирантов. «Надежда Александровна, голубушка, – наконец с укором спросил он, – о чем вы все время мечтаете?» – «Что?» восторженно спросила Надя. «Понятно...» – вздохнул профессор.

Однажды на явочной квартире они лежали в состоянии глубокого энергетического кризиса, и Чистяков с расслабленным недоумением сообщил Наде, что его срочно вызывают в партком. Она пропустила эту информацию мимо ушей, потому что вообще относилась к руководящей силе общества с вызывающим пренебрежением. А Валера-то не однажды наблюдал, как увенчанные сединами и почетными званиями мастодонты науки, ворочающие в уме целыми историческими эпохами, на худой конец – периодами, входя в аудиторию, где назначено партсоборание, сразу превращались в кучку нашкодивших соискателей, которых

может учить жизни любой взгромоздившийся на трибуну инструкторишка, еще год-два назад с трепетом протягивавший им – мастодонтам – свою зачетную книжку, униженно кланча «удик». Но вся штука заключается в том, что он, инструкторишка, уже прочитал проект готовящегося постановления бюро райкома партии, чего мастодонты не читали. А кто знает, что там, в этом постановлении? Может быть, решили подкрутить гайки и проверить политическую зрелость профессорско-преподавательского состава кафедры истории СССР педагогического института?! Но что есть политическая зрелость? Сегодня, скажем, договорились считать политически зрелыми блондинов, завтра, наоборот, брюнетов, послезавтра рыжих... А вот этот самый инструкторишка, он-то как раз и знает еще не выпавшую, грядущую масть!

«Ну что ты ворочаешься? – рассердилась Надя. – В суд тебя, что ли, вызывают?» – «Лучше бы в суд... – вздохнул Чистяков. – Меня Желябьев на факультетском собрании за безынициативность критиковал...» – «Твой Желябьев – сексуальный маньяк, а ты...» – «Что я?» – «Ты... Послушай, Валера, – вдруг совершенно серьезно проговорила Надя, – может, ты свой партбилет потерял? Ты давно его последний раз видел?» – «Позавчера. Я взносы платил...» – посерел Чистяков и метнулся к пиджаку, повешенному на спинку стула.

Билет с вложенной в него аккуратной промокашкой был на месте. «Ты, Чистяков, становишься большим человеком, – грустно предсказала Надя. – У нас любят пуганых...»

Разобидевшийся Валера вскочил и стал одеваться. «Это разрыв? – тоскливо спросила Надя, но он ничего не ответил, а только засопел в ответ. – “Все кончено, меж нами связи нет!” – трагически продекламировала она. – Валера, если это разрыв, то можно обратиться к тебе с последней просьбой?» – «Можно», – сквозь зубы ответил Чистяков. «Валера, переодень, пожалуйста, трусы! Они у тебя наизнанку...» Чистяков захохотал первым, но обида осталась.

В партию Валера вступил в армии, потому что служил нормально, свою специальность вычислителя освоил, офицерам не хамил, в праздники со сцены полкового клуба пел под гитару песни военных лет или декламировал стихотворение «Коммунисты, вперед!»:

Есть в военном уставе такие слова,
На которые только в тяжелом бою,
Да и то не всегда, получает права
Командир, подымающий роту свою...

Однажды после развода секретарь полкового парткома майор Мищенко вызвал Валеру из курилки, приказал застегнуть воротник, поправить ремень, критически посмотрел на его ефрейторскую лычку, а также значок классного специалиста и спросил, не думает ли Чистяков о вступлении в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Мищенко нажал почему-то именно на слово «коммунистической», словно был еще какой-то выбор. Валера с врожденным тактом запел, что о такой чести даже и не помышлял. Майор с удовлетворением выслушал и, в свою очередь, подчеркнул: партийный билет не только большая честь, но прежде всего огромная ответственность. Одно дело – читать стихи со сцены, и совсем другое – быть впереди в ратном труде. Валера покорно кивал и понимал, что отказаться нельзя – просто не поймут, согласишься – весь оставшийся год, когда «старичку» надо бы отдохнуть и со вкусом подготовиться к «дембелю», пробегаешь, как последний салабон, оправдывая высокое доверие. Мищенко приказал Чистякову прибыть в партком и заполнить фиолетовыми чернилами все необходимые формы «согласно вывешенных образцов». И еще он приказал, начиная с завтрашнего дня, читать «Правду» от корки до корки.

Вместе с Валерой кандидатом в члены вступал молоденький лейтенант, недавно пришедший из училища: видимо, Мищенко получил разнарядку на солдата и офицера. Правда, лейтенантик отселился на дивизионной парткомиссии – не смог ответить, что произошло давеча на Багамских островах. Он начал было что-то крутить о борьбе национально-освободительных

сил Багам с засильем транснациональных монополий, выступающих в союзе с местной феодальной знатью и крупной буржуазией, но его резко оборвали: «“Правду”, товарищ лейтенант, нужно читать!» Оказывается, на Багамских островах произошло извержение вулкана, в результате чего погибли несколько рыбаков и американский военный служащий.

Получив кандидатскую карточку, Чистяков был вскоре произведен в младшие сержанты, потом в сержанты и до увольнения в запас неизменно избирался в президиумы на комсомольских собраниях роты. А вместо лейтенантика приняли в партию тихого сверхсрочника Кулика из города Николаева, куда майор Мищенко два отпуска подряд выезжал на отдых со всей семьей и гостил в большом доме Куликовых родителей.

Еще до армии, сразу после десятого класса, Валера поступал на истфак пединститута. На экзамене по специальности ему повезло: он вынул билет, который знал так, что от зубов отскакивало. Но экзаменаторы слушали его вдохновенный рассказ о походе Разина за зипунами с безразличным равнодушием и в результате поставили гибельную четверку, заметив: «Бойко, но поверхностно». Глубоким, видимо, оказался ответ сдававшего перед Валерой расфуфыренного дебила, тот спотыкался на каждом слове и все время забывал, на какой вопрос отвечал, но получил «отлично». В общем, как в анекдоте: выходит ректор к возмущенным абитуриентам и говорит: «Товарищи, экзаменов не будет!» Ему орут: «Почему?!» А он отвечает: «Потому что все билеты проданы!»

Когда же сразу после армии Чистяков прибыл на собеседование в приемную комиссию того же самого пединститута, к нему отнесли, просмотрев анкету, совершенно по-другому. «Современной школе, – сказали, – очень нужны мужчины, тем более молодые коммунисты!» И поставили на анкете какую-то закорючку. Экзамены Валера сдал, сам не заметил как. Его не только зачислили в институт, но, учитывая стесненные жилищные условия в семье, в порядке исключения дали место в общежитии, предупредив, между прочим, что на него имеются дальнейшие виды в смысле общественной работы.

Но тут-то и произошел сбой. В общежитии проживал некто Шуленин, как это ни странно, студент филологического факультета, у которого была странная привычка в минуты дурного настроения вламываться в первую попавшуюся комнату и бить морду любому подвернувшемуся под руку собрату по альма-матер. Про эту особенность Шуленина каждому вновь прибывшему на жительство первокурснику рассказывали с той эпической обстоятельностью, с какой осведомляют о местоположении туалета, графике работы душевых комнат и буфета...

И вот однажды начинающий историк Чистяков, воспользовавшись отсутствием троих своих соседей, гудевших на четвертом у девчонок, сидел, склонившись над столом, и с горделивым прилежанием, улетучивающимся обычно сразу после первой сессии, готовился к семинару по пропедевтическому курсу. Вдруг с грохотом распахнулась дверь, и на пороге, словно в фильме ужасов, возник страшный в своем беспричинном гневе Шуленин. Теперь, пожив и понаблюдав людей, Чистяков мог с определенностью сказать, что у налетчика было какое-то нервное заболевание, выражавшееся прежде всего в буйной реакции на самые незначительные дозы алкоголя. Шуленин подошел к столу, сбросил на пол настольную лампу и, kloкоча от ненависти, спросил: «Учишься, гадина?» – «Учусь», – миролюбиво ответил Валера, встал и сбил психического гостя с ног ударом в челюсть. Для грозы общежития все это было очень неожиданно, потому что обыкновенно его жалобно просили уйти, не брать греха на душу, и, нападая, он, по сути, не готовился к настоящей схватке. Но случилось еще и то, что в армии, особенно на первом году, Валере приходилось драться почти каждый день, и он приобрел некоторые доведенные до автоматизма навыки. Когда же, рыча и отплеываясь, Шуленин начал подниматься с пола, Чистяков размахнулся, точно молотобоец с первого советского полтинника, и «ахнул» неприятеля по загривку сложенными вместе кулаками. Оставалось только перегрузить бесчувственное тело за порог и закрыть дверь.

Но как говорится, «кумир поверженный – все Бог!». Слух про то, что ужасного Шуленина отделал какой-то сопливый первокурсник с истфака, оказавшийся просто монстром рукоприкладства, пошел гулять по этажам и комнатам, дошел до совета общежития, рассматривался на очередном заседании, оттуда перекочевал в деканат и комитет комсомола института, а там сидели люди, которым, вероятно, ни разу в жизни не приходилось получать в глаз без всякой на то причины. Они постановили, что Чистяков превысил необходимые меры самообороны, зарекомендовал себя драчуном, а с такой репутацией о серьезной общественной работе и думать нечего. В результате членом институтского комитета комсомола стал Юра Иванушкин, принявший незадолго до этого две чудовищные шуленинские затрешины с подлинно христианским смирением. Но с Убивцем Валера близко познакомился много позже, когда они оказались соседями в аспирантском общежитии.

Судьба Шуленина тоже любопытна. Он не то чтобы поприших, но комнату, где жил Чистяков, обходил стороной, а на майские праздники выпал из окна четвертого этажа и грохнулся в цветочную клумбу. В больнице, очевидно потрясенный полетом, он начал писать стихи, тонкие, нежные, по-хорошему чудноватые, перевелся в Литературный институт, и недавно Валерий Павлович видел в книжном магазине его новый сборничек – «Прогулки по дну бездны».

Разминувшись с большой общественной карьерой и очень этим довольный, Чистяков трудился в факультетском научно-студенческом обществе, являясь при этом заместителем командира добровольной народной дружины, и однажды лично задержал бежавшего из мест заключения опасного рецидивиста, который напился и уснул на лавочке возле детского кино-театра.

Что еще? На втором курсе Валера влюбился в шикарную девушку по имени Лиза Рудичева, одевавшуюся так, что, увидев ее, дамы-преподавательницы поджимали губы и отводили глаза. Чистяков, все еще ходивший в своем единственном сереньком костюмчике, купленном к школьному выпускному вечеру, а в качестве альтернативного варианта имевший синие брюки, пошитые из офицерского отреза, и зеленый свитер, связанный матерью по модели из журнала «Крестьянка», шикарных женщин робел и чурался. Пока он собирался с духом и средствами, подрабатывая на почте, за Лизой стал ухаживать хлыщеватый мгимошник, подкатывавший к разваливающемуся флигелю истфака на темно-кофейной «трешке». Лиза выходила к нему, царственно садилась в машину, подставляла щеку для ленивого приветственного поцелуя и черным пристяжным ремнем перечеркивала все Валерины надежды. Весенне-летнюю сессию Рудичева сдавала под другой, мужниной, фамилией и, затрудняясь с ответом на вопрос, не строила уже преподавателям глазки, но скорбно опускала их на выпиравшее под платьем плодородное чрево.

Нельзя, конечно, сказать, что Чистяков влюбился в Лизу, будучи совершенным будденброком в сексе. В общежитии, как выразился один преподаватель на разборе очередной аморалки, царили «раблезианские» нравы, имелась компания общедоступных девиц (в основном почему-то с инфака и факультета физкультуры), которые слетались по первому зову, сами приносили выпивку да еще норовили остаться ночевать, совсем не смущаясь того, что на остальных трех койках храпят соседи. Была одна вообще странная «лялька» по прозвищу «Карусель», любившая пропутешествовать за ночь по всем четырем кроватям. После окончания инфака она стала профессиональной путаной, пользовалась ошеломительным успехом, особенно у посланцев третьего мира, а совсем недавно заявила к Чистякову на прием и просила помочь с жильем: детей у нее трое, и все разного цвета...

Это «раблезианство» Валере быстро наскучило: надоело по утрам выгонять из комнаты капризничающих помятых девиц; осточертело являться в институт ко второй паре, лелея в туманной голове единственную мечту о кружке пива; утомили ночные студенческие споры до хрипоты, в которых иногда удавалось с блеском доказать, что твой оппонент еще больший дурак и невежа, нежели ты сам. Валера решил учиться, учиться и учиться, потом поступить

в аспирантуру и стать научным работником, даже доцентом. Осуществлением своего плана он занялся серьезно и с настырностью паренька из заводского общежития. Чистяков смутно чувствовал: тот факт, что смолоду ему приходилось стоять в очереди в уборную, дает ему некие, еще самому не понятные преимущества в борьбе за существование.

На пятом курсе Чистяков считался готовым аспирантом, написал работу, занявшую второе место на республиканском конкурсе, успешно руководил факультетским научным студенческим обществом. Однокурсники женились, разводились, уходили в академические отпуска, мучились смыслом своей двадцатидвухлетней жизни, запивали горькую или, разинув рты, сидели на диссидентских сходках, а Валера, прозванный Чистюлей, гнул свою прямую линию. Однажды по какой-то методической надобности его пригласила к себе домой занудливая преподавательница философии и познакомила со своей дочкой, очень начитанной и трогательной гусыней, которая сразу же посмотрела на Валеру такими глазами, будто хотела сказать: «Ну зачем это нужно? Я же все равно вам не понравлюсь...» Без пяти минут аспирант, понимая, что становится перспективным женихом, спел маме и дочке под гитару парочку жесточких романсов, выпил коньяку из каких-то лабораторно-крошечных рюмок, откланялся и от дальнейших приглашений уклонился. Большая наука могла соседствовать в его душе только с большой любовью!

В аспирантуру Чистяков не поступил, точнее, его не приняли из-за отсутствия мест, которые проданы, кажется, не были, но предназначались так называемым «целевикам», а те, по странному стечению обстоятельств, оказались исключительно детьми разных крупных боссов. Со своим красным дипломом и восторженной рекомендацией ученого совета Валера бодро вошел в класс и сказал: «Здравствуйте, дети, я ваш новый учитель истории».

В аспирантуру он попал на следующий год: у больших начальников случилась какая-то демографическая ниша, недобор по части детей и внуков, а может быть, Валере выпала счастливая карта своим рабоче-крестьянским происхождением олицетворять равные возможности всех категорий советской молодежи или же снова сработала партийность?.. Неизвестно, но директриса школы в голос рыдала, отпуская в большую науку единственного своего педагога-мужчину.

Любопытно, что Наде Печерниковой с аспирантурой помог отец, в молодости друживший с ректором, чего она не скрывала, но когда однажды Валера не то чтобы упрекнул ее, а как-то слишком настойчиво намекнул на то, как трудно торить себе путь без всякой поддержки, Надя со свойственной ей прямоотой посоветовала своему любимому вытатуировать на заднице слова: «Я сын трудового народа» – и предъявлять их обществу в качестве последнего довода. Таким образом, размолвка, случившаяся между ними в связи с вызовом Чистякова в партком, не была ни первой, ни последней. Валера даже привык к Надиной резкости и, чем сильнее обижался на нее, тем больше вожделел. Согласитесь, в обладании умной и язвительной женщиной есть особая острота...

Секретарем партийного комитета пединститута в ту пору был доцент Семеренко Алексей Андрианович. Во времена борьбы с Зоценко он защитил кандидатскую диссертацию о созидательной функции советской сатиры, затем работал в горкоме партии, потом во главе комиссии прибыл в опальный педвуз, разогнал, искоренил (времена были крутые!) половину профессорско-преподавательского состава и оздоровил идеологическую обстановку настолько, что на бюро горкома рассматривали вопрос о фактах неоправданного избиения кадров высшей школы. Институт нужно было возрождать, и на это важное дело послали снова Алексея Андриановича. Лет десять он проработал ректором, потом его с тихим почетом передвинули в секретари парткома, а ректором поставили заслуженного специалиста в области сельскохозяйственной химии. Но без Семеренко все равно ни один вопрос в институте не решался: ректор, если ему на подпись приносили документы, к которым не была подколота скрепкой бумажка с резолюцией «Я – за. А. С.», начинал жалобно браниться и отсылал просителя в партком.

Увидав на пороге смущенного Чистякова, Алексей Андрианович сделал ход конем – вышел из-за стола и двинулся навстречу Валере, крепко пожал руку и постучал твердой ладонью по спине: «Читал, читал: “Если в сердце твоём поселилась усталость...” Молодец! И таких гвардейцев маринуют! Вот мелкобуржуазное болото!...»

Семеренко прямо-таки лучился, на столе у него лежал раскрытый толстый журнал; рецензия, доставившая Валере и Наде столько веселых минут, была совершенно серьезно отчеркнута красными чернилами и испещрена плюсами и восклицательными знаками. До Чистякова постепенно начало доходить, что гвардеец – это он сам, а мелкобуржуазное болото – это партийная организация факультета. «Будем тебя, парень, выдвигать! Хватит им чужой век заедать! Молодежь у нас талантливая, хорошая у нас молодежь!» – все это Семеренко говорил, широко улыбаясь, а улыбка у него была зубастая.

Потом секретарша принесла два стакана чаю, и Алексей Андрианович стал расспрашивать о житье-бытье, о детстве, о родителях, в кого Валера удался такой темненький и кучерявый, трудно ли было служить в Забайкалье, понравилось ли работать в школе. По вопросам было ясно: личное дело Чистякова Семеренко проштудировал досконально. «Происхождение, парень, – это великая вещь!» – говорил Алексей Андрианович и наклонялся так близко, что Чистяков чувствовал тяжелое табачное дыхание секретаря парткома. Они побеседовали почти два часа, Валера в основном слушал и кивал, мало что понимая.

А происходило вот что: цепкая и твердая рука Семеренко всем в институте порядочно надоела, и составилась заговор, о котором, вероятно, знал и ректор, тоже тихо томившийся диктатурой Алексея Андриановича. Путчисты (в основном это были члены парткома) понимали: просто так горком своего человека в обиду не даст, а на общем собрании Семеренко свергать нельзя – сегодня спихнули институтского секретаря, завтра – еще кого-нибудь, повыше... Тогда разработали хитрый план: как ни в чем не бывало, на хорошем уровне провести отчетно-выборную кампанию, переизбрать на новый срок партийный комитет, пребывавший в одном и том же составе, если не считать естественной убыли членов, уже лет десять, а вот на первом, организационном заседании парткома спокойноенько избрать секретарем не Семеренко, а профессора Елисеева, физика-акустика, которому за риск обещали выделить дополнительное помещение для лаборатории.

Но мятежники не учли главного: Алексей Андрианович во время войны руководил особым отделом партизанского соединения. И пока на вопрос председателя отчетно-выборного собрания, какие будут предложения по новому составу партийного комитета, один из заговорщиков разевал рот и шарил по карманам в поисках отпечатанного на машинке списка, на трибуну твердым шагом вышел доцент Желябьев и железным голосом зачитал такой составчик, что все ахнули: из прежних там осталось только три человека – ректор, Семеренко и профессор Елисеев. Из молодежи в новый список попали Чистяков и Убивец. Выступая с разъяснениями, инструктор горкома строго заметил, что членство в парткоме – не потомственное дворянство, что с белой костю мы покончили еще в 1917 году и что обновление выборных органов – ленинская норма жизни. Собрание возликовало...

На первом, организационном, заседании Валера, к своему изумлению, стал заместителем по идеологической работе, а вот профессор Елисеев наотрез отказался от портфеля зама по оргвопросам и просил ограничить нагрузку разовыми поручениями, так как нужно ремонтировать и оборудовать выделенные дополнительные помещения для акустической лаборатории. Заком по оргработе стал Убивец. Ректор, присутствовавший при всем этом, прямо-таки светился от радости и приговаривал: «Ну Алексей Андрианович, ну молоток! С таким боевым парткомом мы теперь горы сдвинем!» Но сдвинули самого ректора, через полгода он ушел в министерство не то чтобы с понижением, но и без особого повышения, а институт возглавил профессор Елисеев, которого, кроме акустики, больше ничто не интересовало.

«Полный апофегей!» – воскликнула Надя, узнав о том, что приключилось с ее другом, и поинтересовалась: зачем Чистякову все эти игры во главе с бывшим начальником особого отдела? «Нужно», – насутился Валера. «А больше тебе ничего не нужно?» – «Нужно оформить наши отношения...» Надя в ответ захохотала и сообщила, что еще недостаточно политически грамотна и морально устойчива, чтобы стать женой такого большого человека и коммуниста. Чистяков обиделся и заявил ей, что она вообще никогда не понимала его по-настоящему, но очень надеется, что наконец поймет, когда ему все-таки утвердят «эсеров», а ей окончательно завернут ее любимого Столыпина. Поймет, что разумный компромисс – признак ума, а глупое упрямство – свидетельство ограниченности и что, как известно, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно! «Спиши слова», – попросила Надя.

В общежитии решили: негоже двум членам парткома тесниться в одном помещении – и выделили Чистякову и Убивцу по отдельной комнате. Валере досталась на третьем этаже, с окнами в садик, а комендант лично проследил, чтобы комнату обставили новой, только полученной со склада и еще пахнувшей фабрикой мебелью, занавески же подобрали под цвет обивки, чего еще никогда в общежитии не случалось. Вахтерша теперь звала Чистякова к телефону не с руганью и попреками – мол, нечего казенную линию посторонней болтовней занимать, но приглашала «к трубочке», величая по имени-отчеству, а буфетчица обслуживала вежливо и накладывала порции побольше. Изменилось и его положение на кафедре: профессор Заславский, поздоровавшись, стал заводить с Валерой вежливые разговоры и бессмысленно льстил, а доцент Желябьев несколько раз аккуратно выпытывал, сильно ли осерчал аспирант Чистяков на ту давнюю товарищескую критику во время факультетского партсобрания. В довершение Валере неожиданно предложили прочитать пропедевтический курс, и это благотворно сказалось на его финансовом положении.

Когда во Дворце бракосочетания подавали заявление, Надя совершенно серьезно спросила у неприветливой тетки: если, например, за те три месяца, которые нужно ждать ритуала, она найдет себе другого жениха или, скажем, Чистяков найдет себе другую невесту, сохраняется ли тогда назначенный день регистрации? А может быть, очередь нужно занимать снова?.. Тетка что-то невнятно пробурчала и с сочувствием поглядела на Валеру. В институте решили пока ничего никому не рассказывать.

Однажды Валера обсуждал в парткоме с Семеренко перспективный план занятий в системе партийного просвещения: тогда как раз входил в моду единый политдень, который Надя называла прививкой от задумчивости. Алексей Андрианович вслух обдумывал кандидатуры докладчиков, темы рефератов и прочее и вдруг ни с того ни с сего спросил: какого черта молодой партийный активист общепартинститутского масштаба занимается разными паршивыми эсерами, начисто сметенными с лица земли народным гневом? Чистяков покраснел и осторожно ответил, что, мол, мы обязаны знать идейное оружие и внутрипартийную практику наших, пусть и побежденных, недругов... Семеренко серьезно похвалил за умный ответ и сообщил, что посоветовался и подобрал Валере новую замечательную тему – «Уральское казачество в боях за Советскую власть. На материале боевого пути Первого Красного казачьего полка имени Степана Разина». Валера заблеял, что он-де уже много наработал, что его интересуют именно эсеры как политический феномен... Алексей Андрианович успокоил: эсеры на Урале были до хреновой матери, поэтому наработанный материал не пропадет, зато тема диссертательная, глубокая, в самый раз! В следующем году – шестидесятилетие славного полка, а его легендарного командира Николая Томина, слава богу, басмачи в 1924-м шлепнули, а не свои – в 1937-м... Нужно срочно съездить в командировку: Челябинск – Верхнеуральск – Свердловск, посидеть в архивах, потом – рука к перу, перо к бумаге... Освободим от всего, кроме политпросвета! А через годик – пожалуйста: «Уважаемые члены ученого совета!» ВАК, где защищенную диссертацию могли продержат до Матрениных заговений, Семеренко тоже брал на себя: месяц-два, не больше!

Чистяков попытался раскрыть рот, но Алексей Андрианович не дал: «Благодарить потом будешь! У меня на тебя, парень, большие виды. Я не вечный, моторчик последнее время барахлит, в случае чего вверенное мне хозяйство должен в надежные руки передать. Иванушкин – хлопец активный, но, чую, были у него в роду кулаки или еще какие-нибудь мироеды. А ты, Валера, – наш, рабочая кость, и за то, что в эсеровском дерьме копать будешь, спасибо никто не скажет... Даже если тему утвердят...»

Когда Чистяков, чуть не плача, рассказал Наде о своей новой теме, она вздохнула, погладила его по щеке и успокоила – мол, гражданская война на Урале, если писать честно, тоже интересный, почти не тронутый по-настоящему материал. Между прочим, с недавнего времени они стали реже встречаться, а «дружить» – одно из Надиных словечек – и того реже. То ли потому, что Чистяков сделался страшно занятым и метался между кафедрой и парткомом, то ли потому, что друг жизни мамульку достался квельный, постоянно бюллетенил, и даже «скоротечный огневой контакт» на явочной квартире стал практически невозможен, а в общежитие к Чистякову, пусть даже в отдельную комнату, Надя приходила мягко отказываясь, объясняя, что она теперь невеста и должна к свадьбе нагулять хоть немножко невинности.

Как-то раз в комнату к Валере заглянул бывший «сокамерник», а ныне «партайгеноссе» Иванушкин. Он уже потихонечку защитился, женился и получил московскую прописку, но из общежития покуда не съезжал, так как затягивалось строительство кооперативной квартиры, на которую дал ему деньги отец. «Бояре, а мы к вам пришли!» – с порога пропел он и достал из полиэтиленового пакета бутылку водки. Сначала поговорили о благополучной защите Убивца: всего три черных шара и те наверняка в отместку за активную жизненную позицию, потом долго ругали ВАК за то, что по году тянут оформление кандидатского диплома, затем перешли на первокурсниц, в нынешнем году на удивление прыщавых и худосочных... Наконец, когда уровень в бутылке опустился ниже этикетки, Иванушкин издали начал про то, что Семеренко, конечно, – прекрасный мужик, настоящий боевой батя, но время его, увы, прошло, обособистские методы работы вызывают изжогу не только в институте, но и в райкоме партии; до недавней поры он держался благодаря своему фронтовому другу, окопавшемуся в горкоме, но того неделю назад выперли на пенсию, и скоро полетит наш Алексей Андрианович, как фанерка над Парижем! Возможно, все решится в ближайший месяц, тогда возникнет вопрос о преемнике, им традиционно становится заместитель по оргвопросам, но все-таки желательно, чтобы эта плодотворная идея родилась в недрах парткома, а в райкоме, слава богу, есть кому поддержать. «А ты будешь моим первым замом! – пообещал Убивец. – Мы должны держаться вместе, поодиночке нас просто сожрут!» Разумеется, спохватился Иванушкин, все это он говорит на тот случай, если батю будут задвигать, так сказать, на печальную перспективу, а сам всей душой желает Алексею Андриановичу долгих лет жизни и плодотворной руководящей работы.

Судя по тому, как Убивец лихо делил портфели, о планах Семеренко и его видах на Чистякова он ничего не знал. И Валера ответил так: оба они очень обязаны Алексею Андриановичу, батя их заметил и вытащил, поэтому пусть все идет своим чередом. Если Семеренко решит сам уйти на покой – тогда и надо будет думать, а пока, честно говоря, его, Чистякова, больше волнует история красного казачества на Урале. Такая, например, проблема: почему главноком Иван Каширин порешил верного ленинца, члена партии с 1898 года Павла Точисского? «А кто он был, Каширин?» – спросил Убивец. «В каком смысле?» – не понял Валера. «В политическом». – «Понимаешь, в источниках путаница, но есть сведения, что поначалу был анархистом...» – «Так что тебе не понятно?» – удивился Иванушкин.

А потом было свадебное путешествие до свадьбы, та злополучная поездка в ГДР на конференцию молодых историков братских стран. Руководителем назначили Чистякова, и он, высунув язык, мотался между институтом, министерством, райкомом и ОВИРом, согласовывал темы докладов, утрясал состав делегации, оформлял документы и получал инструкции –

такие строгие, словно готовилась не делегация научной советской молодежи, а спецформирование для тайной засылки за рубеж и совершения теракта.

За неделю до отъезда слегла с аппендицитом аспирантка кафедры истории КПСС, и Валере удалось скоренько воткнуть в список Надю Печерникову. «Как там у нее с морально-политическим обликом?» – полюбопытствовал, просматривая выездные документы, Семеренко. «Устойчива», – улыбнулся Чистяков. А Надя потом сказала, что в свадебные путешествия – она просто убеждена – нужно ездить до свадьбы!

Как только поезд «Москва – Берлин» миновал окружную дорогу, выпили по первой, пролетая Здравницу, маханули по второй, закусили и начали спорить. Обо всем. Но как-то незаметно уперлись в Сталина. Надя, горячась, стала доказывать, что Сосо панически боялся перемещения центра коммунистического движения в Европу, на родину этого самого марксизма, именно поэтому он и ссраивал Тельмана с социал-демократами до тех пор, пока фашисты не пришли к власти. Почему? Да потому, что ему не нужна была Германия победившего социализма, ему была нужна Германия, побежденная социализмом, то есть побежденная им, Сталиным. Гитлера же он просто хотел перехитрить. Очухался наш кот-игрун летом сорок первого, сидел, гад, ждал: вот сейчас войдут, наган к лобешнику и мозги на стенку. Но некому было войти, боевых ребят он еще с двадцатых годов начал замачивать: Камо шарахнул единственный в Тифлисе автомобиль, Котовского пристрелил взревновавший муж-рогоносец, Фрунзе на хирургическом столе прирезали... Ну и так далее... Но к нему все-таки вошли, вползли: спаси, отец! И тогда он понял, что теперь с этим народом можно делать все, хоть дустом посыпать, ибо уже в минуту зачатия будущий человек заражается страхом перед властью! Вы никогда не задумывались о том, что сумасшедший героизм наших на войне – это кровавый способ хоть как-то возместить свою рабскую униженность в собственном Отечестве?..

Чистяков, как руководитель группы, во время дорожных споров соблюдавший немногословное достоинство, тут уж не вытерпел и упрекнул коллегу Печерникову в передержках и, повторяя слышанные инструкции, строго-настрого приказал, чтобы после Бреста подобных разговоров не было. Надя ответила, что приказ командира – закон для подчиненного.

А ночью, когда все уснули, они прошли в другой вагон, стояли в тамбуре, смотрели на убегающие ночные огоньки и целовались. Чистяков нежно упрекал ее за доверчивость и неосторожность, а она смеялась и говорила, что только в одном деле, которым они редко стали заниматься в последнее время, неосторожность может принести женщине неприятности. Валера, смеясь, твердо пообещал при первом же удобном случае изловчиться и сделать Надю матерью, а себя самого – отцом. «Да? – изумилась она. – Вот с этого места, пожалуйста, подробнее!» Дело в том, что ребенка-то пока не хотел именно Чистяков. Ну подумайте сами, куда он повезет его из роддома? В однокомнатную «хрущобу», где томятся семейным счастьем мамулек и спутник жизни? Или, может быть, в аспирантскую общагу, чтобы первыми жизненными впечатлениями детеныша стали длинный грязный коридор, вонючая кухня и коммунальный сортир?! И будут они блаженствовать вдвоем на двадцати квадратных метрах среди казенной мебели и развешанных пеленок. Но ведь живут же так другие люди, в том же аспирантском общежитии!.. Ну и пусть себе живут... А он, Чистяков, понял, слава богу, что плохо жить – унижительно, а человек не имеет права унижаться!

Обнимая Валеру, Надя никогда не думала о последствиях, и все предосторожности Чистяков добровольно брал на себя, называлось это у них – «бдеть». Обычно Надя из последних сил приподнималась на локте, целовала Валеру в щеку и говорила: «Спасибо за бдительность, товарищ!»

В Берлине Чистякова поразили две вещи: во-первых, естественно, стена. Он шел по какой-то улице, параллельной Унтер ден Линден, и уткнулся. Стена была довольно высокая, бело-голубоватая, с мягко закругленным верхом. Валера попытался себе представить, что такая же стена разделяет нашу Москву, рассекает, например, так, что высотка на площади

Восстания – наша, а вот здание МИДа на Смоленке – уже за граница. Или наоборот... Попытался представить и не смог. Во-вторых, его удивило, что в городе есть дома, точнее, останки домов, еще не восстановленных со времен войны. Нет, не мемориальные развалины, так сказать, в назидание себе и другим, а просто обыкновенные руины, на которые не хватает ни рук, ни денег. «Ну и нечего было лезть к нам!» – твердил он себе, стараясь освободиться от этого неудобного впечатления.

Началась конференция молодых историков братских стран: доклады, сообщения, дискуссии... Все это было похоже на встречу добрых родственников, разговаривающих о погоде, здоровье детей, планах на отпуск и старающихся не касаться ни своих, ни чужих семейных неприятностей. Чистяков, как глава делегации, томившийся в президиуме между носатым чехом и улыбчивым вьетнамцем, внезапно получил записку из зала, надписанную по-немецки: «Genosse Tschistjakov». Он с внутренним холодком развернул листок и прочитал по-русски: «Чистюля, не спи – замерзнешь! Н. П.».

Последний день в Берлине был у них свободный, только вечером планировался банкет по случаю закрытия конференции, и поэтому Чистяков отпустил молодых ученых отоваривать валюту. Надя растратила свои деньги очень быстро – накупила в дорогом магазине тряпок и косметики себе и мамульку. Она выходила из примерочной кабинки, завлекательно поводила плечами и спрашивала у ничего не понимавшего в женских нарядах Валеры: «Ну как, правда роскошно?» Он значительно кивал, а приветливые немецкие продавщицы переглядывались и говорили: «Schön! Sehr schön!» Чистяков хотел было и на свой обмен купить что-нибудь для Нади, но она совершенно серьезно заявила, что совместного хозяйства они еще пока не ведут, а брать деньги, тем более валюту, за роскошь человеческого общения, как это делают некоторые прагматические женщины, она не приучена. И тогда Валера без лишних мучений вложил весь обмен в сервиз «Мадонна» со сценами из пейзажной жизни. Такой же, даже победней, он видел у Желябьева.

Потом они на последние марки набрали замечательного пива и соленого печенья, поднялись в чистяковский полулюкс (остальные члены делегации жили по двое) и прекрасно провели время. Надя отправилась в ванную, но через минуту выглянула оттуда и сказала Валере, засовывавшему бутылки в морозилку: «Иди лучше ко мне! Хочешь, я тебя помою, как маленького?» А вечером руководитель делегации стоял в холле гостиницы и памятливым взглядом встречал запыхавшихся, увешанных свертками молодых ученых-историков, опоздавших к урочному времени.

Прощальный банкет хозяева организовали в большом рыцарском зале, в центре которого стояла бочка халявного пива, да еще официанты обносили гостей вином и шнапсом. На шведском столе теснилось совершенно безобразное изобилие закусок. Воспитанный в гастрономическом аскетизме, Чистяков даже и не предполагал, что существует столько сортов колбасы.

Начались тосты и спичи. Сначала говорили хозяева и с немецкой основательностью благодарили гостей за прекрасное участие в семинаре. Потом, как выразилась Надя, в порядке «алаверды», гости славили хозяев за организацию замечательного симпозиума. Дали слово и Чистякову, он к тому времени хватанул уже две кружки пива, дупелек шнапса и бокал шампанского, поэтому вдохновенно и раскованно – знай наших! – заговорил о великой исторической науке, которая не только познает минувшее, связывая воедино прошлое с настоящим, но и сближает людей и народы, разрушая все стены и преграды меж ними... Выступление Валеры понравилось, ему хлопали, но два самых главных немца удивленно пошептались и пытливо поглядели на Чистякова. Надя, когда он с победой вернулся к шведскому столу, сжала его локоть и прошептала: «Здорово ты им про стену впарил! Полный апофегей! Я тебя уважаю!...» «Про какую стену?» – не понял Валера и, пожав плечами, стал слушать, как шуплый кореец славит гиганта исторической мысли великого вождя и полководца Ким Ир Сена.

После той поездки Чистяков потом много раз бывал за рубежом, но до сих пор помнит, как мучительно медленно полз поезд последние сто километров, как они, собравшись в одном купе, пели «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!», как кричали «ура», пересекая окружную дорогу, как вышли с чемоданами на площадь Белорусского вокзала и с ностальгическим умилением прочитали огромный плакат «Экономика должна быть экономной». А хмурый таксист, наотрез отказавшийся везти Надю в Свиблово, так тот просто показался родным человеком.

Готовясь к отчету о поездке в ГДР, Валера вручил всем членам парткома по сувениру – брелочку в виде маленькой пивной кружки, а Алексею Андриановичу персонально – подарочно оформленный спиртометр. Отчитался Чистяков быстро и складно: доклады членов делегации были сделаны на высоком идейно-теоретическом уровне и хорошо прозвучали, в дискуссии твердо отстаивали четкий историко-материалистический метод, на который, впрочем, никто и не покушался, разве что немножко югославы. Один реферат отмечен дипломом, каковой и прилагается к письменному рапорту. Семеренко благостно покивал и предложил было запро-токолировать положительную оценку работы делегации молодых историков на берлинском симпозиуме, но тут неожиданно для всех слово попросил Убиец. Он встал и, поигрывая подаренным брелочком, спросил, глядя Валере прямо в глаза. Первое. Правда ли, что во время зарубежной поездки велись разговоры, порочащие роль партии в советской истории? Второе. Правда ли, что уважаемый Валерий Павлович, воспользовавшись своим руководящим положением, включил в состав делегации собственную любовницу – аспирантку Печерникову и во время поездки они даже не скрывали своих интимных отношений? Третье. Правда ли, что заместитель секретаря парткома по идеологии, выступая на закрытии симпозиума, призвал разрушить Берлинскую стену, защищающую первое немецкое социалистическое государство от посягательств НАТО? Члены парткома посмотрели на Валеру так, как смотрят на ошметки человека, попавшего под экспресс.

Чистяков почувствовал, что лицо его стало багровым, а между лопаток потекла щеко-чущая струйка пота. Он до дурноты четко ощущал, как непоправимо затягивается пауза, и наконец мысленно выстроил фразу о том, что споры о неоднозначной роли Сталина в становлении социализма не есть очернение партии, что его слова об исторической науке, ломающей преграды между народами, ничего общего не имеют с призывом разрушить Берлинскую стену, обладающую, без сомнения, важным военно-политическим значением, и что его отношения с аспиранткой Печерниковой никого не касаются, что они подали заявление и скоро поженятся... Скажи тогда Валера эту длинную, продуманную фразу – и жизнь его пошла бы совсем по-другому: он никогда бы не стал секретарем райкома, он бы женился на Наде, и у их ребенка, в это Чистяков твердо верил, были бы самые здоровые почки.

Но тогда, одиннадцать лет назад, прежде чем раскрыть рот, Валера глянул на Семеренко, а тот, сурово нахмурившись, в упор смотрел на своего любимца и медленно шевелил губами, точно жевал что-то. И Чистякову показалось, что эти беззвучно шевелящиеся губы произносят одно-единственное – «клевета». «Клевета! – твердо повторил Валера. – Клевета от начала и до конца!» – «Откуда, парень, у тебя такая информация?» – тяжело спросил Семеренко у Иванушкина. «Был сигнал. Я разговаривал с членами делегации. В райкоме партии уже знают», – четко ответил Убиец.

«А вот не надо, парень, меня райкомом пугать! – осерчал Алексей Андрианович. – Ладно, учитывая серьезность выдвинутых обвинений, составим комиссию. Председателем буду я. Возражений нет? Свободны...»

После того как все ушли, Чистяков остался сидеть за длинным столом. Несколько минут Семеренко расхаживал по кабинету и матерился, почти до дна исчерпав бездонные ресурсы меткого народного слова. «Но ведь не так было!» – пытался оправдываться Валера. «Но ведь было?» «Было...»

«А не должно быть! Ничего! – крикнул Алексей Андрианович. – По-твоему, Иванушкин сам допер? Не-ет, подсказа-али! Ты думаешь, парень, они тебя сожрать хотят? Не-ет! Я ж тебя, раздолбая, в кадровый резерв записал, документы в райком заслал. Ты – мой тыл, поэтому по тебе ударили. И время как удачно выбрали – прикрыть теперь некому. А ты, сопляк, дал повод! Так что, извини, накажу я тебя. В мои времена за такие дела в порошок стирали и по ветру развеивали, а я тебя даже из партии не погоню, дам строгача с прицепом. В аспирантуре останешься, защитишься, но из парткома я тебя шугану так, что они там в райкоме надолго заткнутся. А жаль... Хороший из тебя, парень, комиссар мог получиться! – Семеренко с досады хватил ладонью по столу, потом достал из маленькой пробирочки крупинку нитроглицерина и, болезненно улыбнувшись, спросил: – Девка-то хоть стоящая?..»

В институтской раздевалке гардеробщик, дедуля с купеческим пробором, выдал Валере его плащ, помог надеть и даже смахнул со спины и плеч перхоть специальной щеточкой. До избрания в партком он просто кидал чистяковскую одежду на барьер и отворачивался. «Ничего, скоро снова начнет швырять!» – подумал Валера, и грядущее пренебрежение этого несчастного подавальщика показалось ему самым обидным во всей этой унижительной истории.

На кафедре Чистякову сказали, что все давно разошлись, дольше всех сидела Печерникова, но и она ушла полчаса назад. Валера вспомнил, что у нее сегодня примерка. Надя поначалу хотела просто купить свадебное платье в комиссионке, но мамулек обозвала ее дурой и собственноручно отвела ее в ателье.

Сам не зная зачем, Валера поехал к родителям. Они недавно получили в том же общежитии комнату побольше, метров восемнадцать, чем отец несказанно гордился. Надя однажды заметила: если у человека сначала отобрать все, а потом кидать ему крошки, то он будет благодарить и лобызать кидающую руку, не вспоминая даже, что она, эта рука, некогда все и отобрала.

Чистяков-старший работал токарем-расточником на заводе «Старт», уходил из дому затемно, в шесть утра, и с детства Валера запомнил: во время завтрака на столе неизменно стояла еще не вымытая матерью глубокая тарелка, словно покрытая изнутри бордовой плесенью. По утрам отец всегда ел первое, обычно борщ. Возвращался он с работы тоже рано, выпивая свою четвертинку, ужинал и дремал возле врубленного телевизора, но стоило выключить «ящик» или просто убавить звук – сразу просыпался. В десять отец окончательно укладывался спать и очень злился, когда Валерка продолжал читать при свете ночника, ругался, обзывал всех дармоедами, вставал и выключал лампочку. Тогда сообразительный сын на деньги, сэкономленные от завтраков, купил себе фонарик и стал читать под одеялом, но суровый родитель обнаружил это и разбил фонарь об пол... Одним словом, путь к знаниям у Чистякова был такой же крутой, как у Горького. И только совсем недавно, лежа, уткнувшись лицом в теплое Надино плечо, он ни с того ни с сего догадался, что своим дурацким чтением в двенадцатиметровой комнатухе просто-напросто мешал родителям любить друг друга. Ну конечно! Поэтому-то минут через пятнадцать после того, как гасили свет, мать спрашивала: «Валерик, ты не спишь?» А еще через некоторое время вставала и подходила к сыну якобы поправить постель... Сестра-то была совсем маленькой и засыпала сразу после того, как ее напоят сладкой водой из соски. И еще Валера заметил: возвращаясь из пионерлагеря, он находил родителей веселыми и дружными. Как, оказывается, все просто!

Отец в майке сидел перед включенным телевизором и ужинал, а сестра за письменным столом делала уроки, по многолетней привычке совершенно не обращая внимания на шум. Передавали футбол. Папаня при каждом остром моменте подскакивал и орал: «Ну!» Под это «ну!» и прошло детство Чистякова. Он вынул из портфеля бутылку коньяка и поставил рядом с наполовину пустой законной четвертинкой. «Коньяк?» – разочарованно спросил отец и полез в сервант за второй рюмкой. Валера подошел к сестре, дернул ее за косу, а когда она сердито

обернулась, протянул ей плитку шоколада. Сестра взяла и пробурчала: «Лучше бы “Сюрприз” купил. Стоит столько же, а в десять раз больше!» – «Ты и так толстая», – ответил он и пальцем показал ей грамматическую ошибку в тетради.

Отец принялся рассказывать последние новости: постепенно семьи из общежития разъезжались в отдельные квартиры, на их место заселяли лимитчиков, а те – хоть убей – отказывались выполнять коммунальные обязанности по уборке общественной кухни и туалета; пришлось одному умнику морду набить, теперь коридор как миленький подметает... «А ты-то чего пришел? – вдруг спросил отец. – Неприятности, что ли?» – «Почему неприятности?» – удивился Валера. «Потому... Между прочим, вырастил тебя, дармоеда, и знаю как облупленного!»

Чистяков не удержался и скупой поведал, что партийной работой больше заниматься не будет, весь уйдет в науку. Отец покачал головой, поцокал и рассказал, как у них на заводе секретарь парткома получил новую квартиру третьим – после директора и главного инженера. Когда уговорили коньяк, из бельевого отсека желтого гардероба, который Чистяков помнил почти всю жизнь, на свет явилась бутылка портвейна «777» – тайные запасы. Вскоре Валера не выдержал и в подробностях рассказал о поездке, о происках Убивца, о решении, принятом Семеренко. Отец слушал все это, качая головой, между делом поинтересовался, правда ли наше пиво по сравнению с немецким моча, а потом заявил, что, мол, Надья тоже дура – нечего было ехать... Разоткровенничавшись, он даже рассказал один случай из своей жизни, очень похожий. Хотели его однажды сделать бригадиром, вместо Пашехонова, а тот пронюхал, что отца в конце смены хочет начальник цеха на беседу вызвать, и уговорил в обеденный перерыв выпить сухого винца. Руководство сразу почувствовало запах и уже больше никогда не обращало на отца кадрового внимания, но Пашехонова все равно из бригадиров погнали...

Валера так и не дождался, когда с вечерней смены вернется мать. С помощью сестры он уложил отца спать, поставив на всякий случай рядом тазик... «Куда будешь поступать после восьмого?» – нетвердо спросил Валера сестру, путаясь в рукавах пальто. «В кулинарный техникум!» – зло ответила она.

Из уличного автомата Чистяков позвонил Наде и попросил ее срочно приехать в общежитие, потому что произошли страшные неприятности. Через полчаса она сидела у него в комнате, и он снова, уже с каким-то пьяным остервенением, рассказывал о случившемся. «И всего-то, – пожалла Надя плечами. – Стоило из-за такой ерунды напиваться!» Она усадила Валеру на кровать, устроилась рядом, положила его голову себе на колени и, поглаживая ему волосы, принялась успокаивать, мол, все к лучшему в этом лучшем из миров, и теперь он не будет тратить драгоценное время на разную ерунду, а займется наукой, он же талантливый, а все эти партигры – для посредственностей, которым, к сожалению, в нашей непонятной стране живется привольнее всех, и даже удивительно, что основоположники этого перевернутого общества сами были людьми недюжинными... «Но откуда, откуда он все узнал?!» – вдруг всхлипнул Чистяков. «Ты еще зарыдай! – рассердилась Надя, но тут же спохватилась: – Валера, разве можно так распускаться? Какой же ты после этого грозный муж? Послушай, платье будет роскошное...» – «Откуда он узнал?!» – повторил Чистяков. И Надя стала терпеливо объяснять, что про их отношения давно уже знает весь институт, поэтому не нужно иметь особо извращенное воображение, чтобы догадаться, чем занимались они на немецкой земле. «А разговоры в купе?» – не унимался Валера. «Ну, это совсем просто, – отвечала она, – симпозиум был занудный, и кто-нибудь из делегации мог рассказать Иванушкину, что в поезде споры были намного интереснее». – «А про стену?» – застонал Чистяков. «Только ты не сердись, – попросила она, – про стену я ему сама рассказала... В шутку! Я же не знала, что он подлец...» – «Ты?! В шутку?!» – заорал Валера, вскочил с кровати и затрясся. «Не кричи, я же нечаянно...» – «Нечаянно!» – передразнил он, гримасничая. «Если хочешь, считай, я сделала это нарочно, чтобы испортить тебе карьеру. Генсеком ты уже не будешь!» Чистяков размахнулся и ударил Надю так, что голова ее мотнулась в сторону и стукнулась о стену. Она закрылась ладонями

и сидела неподвижно, пока кровь, просочившись между пальцев, не начала капать на джинсы. Тогда Надя достала платок, намочила его водой из графина, вытерлась, потом откинулась на подушку и прижала влажный платок к переносице.

Чистяков ходил по комнате и твердил себе, что поступил совершенно правильно, что она продала его Убивцу и теперь заслуживает ненависти и презрения. Надя дождалась, пока перестанет идти из носа кровь, припудрилась перед зеркалом и ушла, так ничего и не сказав.

Чистяков лег спать, ничуть не раскаиваясь в содеянном, а ночью, часа в три, вскочил от ужаса. Такое с ним случалось в детстве, он просыпался от внезапного страха смерти и начинал беззвучно, чтобы не разбудить родителей, плакать. Нет, это была не та горькая, но привычная осведомленность о конечности нашего существования, а какое-то утробное, безысходное предчувствие своего будущего отсутствия в мире, делавшее вдруг жестоко бессмысленным сам факт пребывания на этой земле. В такие минуты он очень жалел, что не верит в Бога. На этот раз Валера проснулся не от страха смерти – от ужаса, что он потерял Надю...

Когда на следующий день Чистяков, с трудом проведя семинар и отпустив студентов, принялся туповато проставлять оценки в свой кондуит, к нему подошла Ляля Кутепова. «Валерпалыч, – сказала она. – Я давно хотела вас попросить, не нужно завязывать галстук таким широким узлом, это не комильфо...» – «Что?» – оторопел он. «Да не переживайте вы так! Ничего они вам не сделают, стукачи проклятые!...» А когда Валера, тяжело неся похмельную голову, вышел за ворота института, то увидел Надю: она смотрела на него с обычной усмешкой, и только плотный слой пудры придавал ее лицу странное выражение. «Надо поговорить!» – начала Надя, и сердце Чистякова на радостях споткнулось и пропустило положенный удар. Они дошли до набережной и побрели вдоль Яузы. Оказалось, Печерникову вызывали в партком, допрашивал лично Семеренко в присутствии Убивца и еще какого-то гладкомордого мужика из райкома. «Я пыталась объяснить им, как все было на самом деле, но, по-моему, их больше интересовало то, что у меня под джинсами...» – «Спасибо... – Валера невольно улыбнулся и попытался взять ее за руку. – Ты знаешь, я вчера...» – «Да ты что, Чистяков! – Она даже отпрянула. – Наш роман закончился. Совсем. “Все кончено, меж нами связи нет...”» – «А платье?» – как полный debil, спросил Валера. «Пригодится...» Но обиднее всего было то, что он никак не мог вспомнить, откуда Надя взяла эту строчку: «Все кончено, меж нами связи нет!»

На очередном заседании парткома, ко всеобщему изумлению, Семеренко зачитал письмо отсутствующего по болезни Иванушкина, который, ссылаясь на недобросовестность своих источников, брал назад все обвинения в адрес Чистякова и слезно просил прощения, объясняя свою трагическую ошибку самыми лучшими побуждениями. Убивца, так после этого ни разу и не показавшегося в институте, вскоре забрали инструктором в отдел пропаганды Краснопролетарского РК КПСС.

А Валере в конце концов объявили благодарность за высокий профессиональный и политический уровень, проявленный во время заграникомандировки. «Ну ты, парень, даешь! – потрепал его по плечу Алексей Андрианович, задержав после парткома. – Как же ты, хитрован, на Кутепова вышел?»

Через неделю Ляля, подкараулив Чистякова у дверей факультета, поздравила Валерпалыча с благополучным окончанием всех неприятностей и пригласила отобедать у них в ближайшую субботу.

Жили Кутеповы в замечательном доме, сложенном из бежевой «кремлевки», недалеко от стеклянных уступов проспекта Калинина, в трехкомнатной квартире с огромным холлом, двумя туалетами, большой розовой ванной и специальным темным помещением для собаки. В общежитии, где Валера провел детство, в таком помещении существовала целая семья. Квартира была обставлена и оснащена добротными, но недорогими и потому особенно дефицитными вещами; исключение, пожалуй, составлял японский видеоманитофон, воспринимав-

шийся в те годы как домашний синхрофазотрон. Стены холла от пола до потолка были скрыты стеллажами, полными книг: подписка к подписке, серия к серии, корешок к корешку...

Николай Поликарпович Кутепов встретил Чистякова дружелюбно, но с церемониями, а пожимая руку, смотрел в глаза с какой-то излишней твердостью. Кутепов носил чуть затемненные очки в интеллигентной оправе, имел высокую, зачесанную назад шевелюру с интересной, словно специально вытравленной, седой прядью и был одет в строгий костюм, белую рубашку, и только чуть распушенный галстук свидетельствовал о том, что крупный партийный руководитель пребывает в состоянии домашней расслабленности.

«Лялюшонок, иди помоги маме!» – распорядился он, и Ляля, демонстрируя дочернюю покорность, ушла на кухню. Кутепов пригласил Валеру к журнальному столику, на котором стояли обметанная золотыми медалями бутылка и серебряное блюдечко с тонко нарезанным лимоном. Повинуясь приглашающему жесту, Чистяков провалился в велюровое кресло, такое мягкое и податливое, что возникло опасение удариться задом об пол.

Прихлебывая, точно шупая губами коньяк, Николай Поликарпович расспрашивал об институтских делах своей дочери, заметил вскользь и про Семеренко: мол, испытанный боец, но время его прошло; потом ни с того ни с сего похвалил Валеру за мудро избранную тему диссертации и высказал соображение, что для профессионального партийного работника историческое образование, а тем паче кандидатская степень – в самый раз. Сегодня ведь науку матерком на открытия не подвигнешь, изнутри нужно знать проблемы, изнутри! Говорил Кутепов медленно, выстраивая законченные и выверенные предложения, хорошо держал паузу и только иногда – очень редко – простонародно путал ударения.

С пирогом из кухни появилась мама – Людмила Антоновна, полная, даже расплывшаяся женщина с красным и потным, наверное, от духовки, лицом. Перед тем как протянуть Валере ладонь, она тщательно вытерла ее о передник, а потом поинтересовалась, не озорничает ли ее Лялюшонок на занятиях. Стол был хорош и напоминал выставку продуктов, давно уже исчезнувших из торговой сети. Нет, вы поймите правильно, по отдельности, если постараться, севрюгу, например, или греческие маслины, крабов, допустим, или судачка раздобыть и поесть можно, но так, чтобы все это непринужденно сошлось на одном столе во время рядового субботнего обеда, – такого Валере еще видеть не приходилось.

Застольная беседа состояла из деловитых вопросов Николая Поликарповича, вежливых ответов Чистякова, Лялиных хихиканий и причитаний Людмилы Антоновны по поводу якобы плохого аппетита у гостя, хотя Валера лично сгваздал добрую треть пирога с начинкой из белых грибов. Кутепов снова завел речь о диссертации, расспрашивал о гражданской войне на Урале и очень удивился, узнав, что Советскую власть там поддерживали всего три процента казачества. «Как чувствовали!» – засмеялась Ляля. А Николай Поликарпович очень серьезно заметил: «Когда бранят Сталина за жестокость, забывают про то, как трудно брали власть!»

К вечеру подъехал еще один гость – зампред Краснопролетарского райисполкома Василий Иванович Мушковец, земляк или дальний родственник Людмилы Антоновны, которую он почему-то звал «Людша», а Ляля, в свою очередь, величала его «дядя Базиль».

Дядя Базиль с ходу предложил выпить за тылы, за любимых жен, без которых мужчины как партия без народа. Николай Поликарпович, становившийся от спиртного только рассудительнее и государственнее, согласился с этим тостом и добавил, что в женщине, как и в военной технике, главное не красота, а надежность. «Не скажи, – заспорил Мушковец, – одно другому не мешает. Людшу-то небось не за одну надежность брал! А Ляльку свою и вообще Шахерезадой вырастил». Лялька хмыкнула и ушла на кухню помогать матери мыть посуду. «Дочь – молодчага!» – проводив ее взглядом, директивно отметил Кутепов и нежно улыбнулся. «А ты, значит, тот самый барбос, который собирался Берлинскую стену развалить!» – вдруг захохотал дядя Базиль и с такой силой заколотил Валеру по спине, словно хотел выбить смертельно застрявшую кость. «Клевета!» – автоматически ответил Чистяков. «Райком в игры

играет, – заступился Николай Поликарпович, – а хорошие ребята страдают. Мы товарищей поправили...» – «Вот ведь кошкодавы! – посуровел Мушковец и предложил почему-то на английский манер: – Давайте уйпьем уиски!»

Потом смотрели по видеомагнитофону «Белое солнце пустыни», и когда Верещагин-Луспекаев произнес свое знаменитое: «За державу обидно!» – дядя Базиль всплакнул, а Кутепов, подумав, сообщил, что теперь понимает, почему космонавты так любят именно этот фильм. Вскоре из кухни вернулась Ляля и решительно изъяла захмелевшего Чистякова из общества Николая Поликарповича и Василия Ивановича, уже готовых запеть и шумно обсуждавших, с какой песни начать.

Она повела Валеру в свою комнату, все еще чем-то похожую на детскую, и показала толстенный каталог, недавно привезенный из Нью-Йорка. Эта книжища наверняка издавалась и засылалась к нам исключительно с подрывными целями, ибо в действительности такого обилия и разнообразия промтоваров не может быть, потому что не может быть никогда! Когда они, трогательно сблизив головы, листали многостраничный раздел дамских бюстгальтеров, в дверь тихонько заглянула Людмила Антоновна и, умильно вздохнув, скрылась.

Расходились поздно, после того как Николай Поликарпович, поддавшись долгим уговорам дяди Базилia, поиграл на баяне. Оказалось, еще один такой же инструмент хранился у него в горкоме в комнатке для отдыха рядом с кабинетом; в трудные минуты он запирался, брал баян в руки и отдыхал душой. «Поиграю минут десять – и давление в норме!» – улыбнулся Кутепов. Провожая Валеру до двери, он задержал его руку в своей и, медленно подбирая слова, потребовал, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, на правах доброго знакомого Чистяков поблажки Ляльке не давал, а спрашивал с нее «по всей строгости и даже еще строже». Людмила Антоновна мигала добрыми глазами и приглашала заходить запросто.

На воздух вышли вместе с Мушковцом. У подъезда ждала черная «Волга», которую вызвал Кутепов; водитель спал, надвинув на лицо ондатровую шапку. Дядя Базиль заботливо решил подвезти ослабевшего Валеру и всю дорогу шумел о том, что окружающая гнусная жизнь просто кишит кошкодавами и такие изумительные мужики, как Николай Поликарпович, встречаются один на миллион, а таких замечательных девушек, как Ляля, попросту не бывает! Когда машина остановилась возле подъезда с освещенной вывеской «Общежитие педагогического института», Мушковец удивленно помотал головой, словно отгоняя наваждение, и тихо сказал: «Заходи как-нибудь, порешаем твой жилищный вопрос...»

Ночью Валере приснился сон, будто бы он снова пришел к заболевшей Наде в «бунгало», принес мед и лекарства, но она почему-то накрылась с головой, лежала неподвижно и не отзывалась. «Гюльчатай, покажи личико!» – попросил он и стал стаскивать с нее одеяло, а когда стащил, увидел не Надю – Лялю, она улыбалась и показывала ярко-малиновый язык.

Честно говоря, до того самого дня, когда они должны были идти во Дворец бракосочетания расписываться, Чистяков надеялся на примирение, он втайне думал, что Надя просто воспитывает его, дабы никогда больше в их грядущей семейной жизни не смел он поднимать на нее руку! Валера несколько раз пытался объясниться, но она смеялась в ответ или называла его занудой – человеком, которому проще отдаться, чем втолковать свое нежелание это делать. Чистяков позвонил даже мамульку, та всхлипывала в трубку и спрашивала, из-за чего они поссорились. Объяснять он не стал.

Миновал день их несостоявшейся свадьбы, наступила весна, и однажды возле факультета он увидел Надю в компании тощего и неряшливо одетого очкастого малого, очень похожего на тех, что в довоенных фильмах изображали до идиотизма рассеянных талантливых молодых ученых. «Это – Олег! – представила Надя. – Он пишет прозу...» – «Про заек?» – скаламбурил остроумный Валера. «Прозаик, – кивнула Печерникова. – А это Валерий Павлович Чистяков – заместитель секретаря парткома по идеологии!» – сказала она это с той интонацией, с какой объявляют гостям любимца семьи, юного дауна с грушевидной головой и ясными бессмыс-

ленными глазами. Малый с усмешечкой кивнул, и Чистяков понял: неизвестно, как там у них в койке, но на предмет руководящей роли партии в обществе они поладили. Прощаясь, Валера пристально посмотрел на свою бывшую невесту, давая понять – мол, если так уж замуж невтерпеж, могла бы найти преемника и получше, чем этот засушенный богомол! Надя же ответила ему улыбкой, полной превосходства и тайной женской греховности.

Через несколько дней Ляля днем после лекции затащила Валерпалыча к себе, чтобы показать по видуку новый, атасный штатовский фильм. Дома никого не было; оказывается, Людмила Антоновна, идентифицированная им как домохозяйка, тоже работала – преподавала античную литературу в полиграфическом институте. Ляля поставила кассету и, пока тянулся нудный американский пролог с длинными разговорами и страдальчески наморщенными лбами, переделась в обалденное черное кимоно, сварила кофе и приготовила тосты с сыром. А когда на экране началась эротическая сцена со стонами и непонятным мельканием многочисленных конечностей, провела коготками по его груди и подставила губы для поцелуя. Обмирая от смущения и прислушиваясь к шорохам в прихожей, Чистяков с педагогической сдержанностью поцеловал ее и почувствовал себя чуть ли не растлителем. Не давая опомниться, Ляля повлекла его руку под кимоно: там оказалось совершенно голое тело и крепкие, как бицепсы, груди. Кожа была покрыта твердыми пупырышками и напоминала книжку. В самый проникновенный момент, задышавшись, Ляля прошептала: «Ну, милый, здравствуй!»

Кто ее выучил этому странному приветствию, неизвестно. Возможно, выудила из какого-нибудь видеофильма. Между прочим, несколько позже Чистяков все-таки поинтересовался приблизительным количеством своих предшественников, с которыми она здоровалась подобным образом. Спросил не из ревности, из любопытства. Ляля не моргнув глазом заявила, что в девятом классе у них образовалась дружная шведская семейка, но что с тех пор она поумнела и поняла преимущество индивидуального секса перед групповым, и, глядя на поглупевшее от неожиданности лицо Валерпалыча, студентка Кутепова долго и радостно хохотала.

Через полгода Чистяков защитился – ни одного «черного шара», а в выступлениях оппонентов – прямое указание: половина докторской диссертации уже есть, только работай! Поздравляя новоиспеченного кандидата наук, профессор Заславский тонко заметил, что в лице Валерия Павловича счастливо соединен талант исторического исследователя и общественного деятеля... «Поэтому не повторяй ошибки тех дураков, которые руководили нами до тебя! – сказал от себя сидевший рядом Желябьев и озабоченно добавил: – Пятнадцати может не хватить...»

Поясним: только-только вышло постановление, запрещающее устраивать официальные банкеты по случаю защиты диссертаций, и застолья, естественно, переместились из ресторанов и актовых залов институтов в квартиры. Желябьев еще за месяц предложил Валере в полное распоряжение свою квартиру, сообщив, что у него имеется для таких случаев девочка из заводской столовой, которая режет салаты с капиталистической скоростью, и что от Чистякова потребуется только «горючее» – бутылок пятнадцать. О предстоящем товарищеском ужине знала, конечно, вся кафедра, предвкушала, и, когда после объявления итогов тайного голосования Надя тепло поздравила Чистякова и хотела уйти, доцент Желябьев занервничал и сказал, что своим поведением аспирантка Печерникова ставит в неудобное положение их всех, ибо постановления власти нужно или нарушать всем вместе, или вообще не нарушать. Надя покорила.

Первый тост подняли за историческую науку, второй – за свеженького кандидата, третий – за научного руководителя, четвертый – за южноуральских казаков и их славного командира Николая Томина, счастливо павшего от басмаческой пули и не харкавшего кровью в подвалах Лубянки, к которой даже Железный Феликс стоит сегодня спиной... Потом профессор Заславский стал горько корить Надю за то, что она, умница, написала прекрасную, но совершенно непроходимую первую главу и отказывается, скверная девчонка, исправить хоть одно

слово. «Столыпин – великий государственный деятель! Но, голубушка Надежда Александровна, время этой аксиомы еще не пришло. Только не надо тонко улыбаться и считать меня старым олухом... Под видом критики можно тоже сделать немало. Немало! Вспомните, милая, средневековых богословов...» И в подтверждение своего тезиса профессор Заславский стал рассказывать про осточертевшую всем встречу с монархистом Шульгиным. Вскоре заведующего кафедрой вынесли и уложили в такси.

В тот вечер Валера рюмок не считал и был в ударе. Оглушительный успех имела история, которую сам Чистяков слышал от одного специалиста по казачеству. Однажды Буденному к очередному юбилею решили поднести его портрет, конный. Живописец, получивший этот почетный заказ, стал просматривать старые фотографии, чтобы получше подобрать прототип для маршальского скакуна, благо с иконографией самого Семена Михайловича было все в порядке. И вот очень уж понравился художнику скакун под наркомом Ворошиловым, когда тот принимал один из парадов на Красной площади. На полотне благородное животное выглядело как живое, хорош был и маршал, особенно усы! Автор уже просверлил дырочку для лауреатского значка. Повезли портрет Буденному, показали, а он как заревет: «Так-вас-распростак! Меня, Буденного, на Климкиной кобыле нарисовать! Вон отсюда!..» «Вранье, конечно, но очень смешно!» – похвалил, вытирая слезы, доцент Желябьев.

Между прочим, все были уверены, что именно в этот торжественный день Валера и Надя – а про их ссору знала вся кафедра – обязательно помирятся. Весь вечер Чистяков ловил на себе ободряющие взгляды доброжелателей – мол, давай-давай, другого случая не будет... И он чувствовал себя мальчишкой-школьником, написавшим девочке записку, про которую вдруг узнал весь класс. Помогая Наде тащить грязную посуду на кухню, где орудовала неутомимая девушка из заводской столовой, Чистяков заплетающимся языком, но гордо сообщил, что строчка «Все кончено, меж нами связи нет...» – это, кажется, из Брюсова! Печерникова улыбнулась и сказала, что теперь видит перед собой настоящего кандидата наук...

Отключился Валера на оттоманке под Мурильо. Проснувшись среди ночи, он почувствовал во рту пресную сухость, а язык ворочался с каким-то наждачным скрежетом. В ванной комнате Чистяков включил почему-то душевой смеситель и стал пить, припоминая, что однажды уже пил так, в детстве, в пионерском лагере, – из садовой лейки, и привкус воды был такой же металлический... Возвращаясь назад к оттоманке, Валера заблудился: в спальне дрыхли Желябьев и повариха, она так странно закинула на доцента голую ногу, словно хотела перебраться через него; в библиотеке на кожаном диване, застеленном простыней, под клетчатым пледом лежала Надя; наверное, она допоздна помогала наводить в квартире порядок после кафедрального разгула и осталась ночевать.

Чистяков тихо подошел к дивану, встал на колени и заплакал по своей утраченной любви. Темнота за окном начинала приобретать предрассветный серебристый оттенок. Возможно, Надя не спала, а может быть, ее разбудили рыдания несчастного диссертанта, она выпростала из-под пледа руку, погладила Валеру по мокрой щеке и прошептала: «Все было так хорошо, а ты все так испортил».

Утром Чистяков очнулся на кожаном диване, раздетый и заботливо укрытый пледом. Рядом никого не было, но подушка пахла Надиными волосами, на белой простыне чернел загадочный иероглиф потерянной шпильки, а в больной голове крутилась странная фраза: «А раньше ты был бдительным, товарищ?»

...На свадьбу по предложению остроумного Желябьева Наде подарили набор индийского постельного белья и двухтомник Шолохова «Поднятая целина». Секретарша Люся, представлявшая на торжестве кафедру и вручавшая общественные подарки, рассказывала потом, что на Печерниковой было восхитительное платье, что жених по имени Олег произвел занюханное впечатление, что на свадьбе было много поэтов и они замучили всех своими стихами.

Вскоре Надя ушла из аспирантуры и стала работать в школе. С тех пор Валера ее не видел.

Алексей Андрианович сдержал свое слово: в ВАКе диссертация пролежала два с половиной месяца. Получение кандидатского диплома, ужасно нескладного, коричневого, с дурацким розовым бумажным вкладышем, праздновали у Кутеповых, в семейном кругу. Между тушеной парной бараниной и десертом Чистяков сделал официальное предложение Ляле. Николай Поликарпович задумчиво сообщил, что, по его мнению, прочная семья – единственный залог жизненных удач и успешного служения обществу, а присутствовавший при сем дядя Базиль заявил, что у двух таких замечательных барбосов, каковыми являются Валера и Ляля, будут очаровательные барбосики. Людмила Антоновна в этот исторический момент находилась на кухне и вынимала из духовки торт, а когда обо всем узнала, то прочитала жениху и невесте стихотворение Степана Щипачева «Любовь – не вздохи на скамейке...».

Свадьбу играли в хорошем загородном ресторане. Медовый месяц провели в Болгарии на Золотых Песках: путевки в конверте преподнес дядя Базиль. Ляля водила Валеру на нудистский пляж, и он имел возможность удостовериться, что у его юной супруги отличная фигура, особенно на фоне обвислых западных теток, которые, вставив фарфоровые зубы, полагают, очевидно, будто у них помолодело и все остальное. Жили молодые в великолепном двухкомнатном люксе с видом на море и акробатически-широкой кроватью. «Ну, милый, здравствуй!»

Воротившись в Москву, Чистяков узнал о скоропостижной смерти Семеренко: в вестибюле института висел выполненный на ватмане черной тушью некролог. Алексея Андриановича, оказывается, пригласили в Белоруссию на слет старых партизан, он поехал, повидался с боевыми друзьями, побродил по местам, где пришлось воевать, поспорил с некоторыми горлопанами, недооценивающими значение особых отделов во время войны, выпил за Победу... Прибыл назад бодрый, на одном дыхании провел партком, посвященный итогам сессии, и умер ночью во сне, как умирают любимые Богом люди.

Новым секретарем парткома, разумеется, стал Валерий Павлович Чистяков.

* * *

Во время второго перерыва снова пили чай с бутербродами, и Бусыгин рассказывал о том, как организовано детское питание в том районе, где БМП первосекретарил, пока его не призывали в столицу искоренять коррумпированных перерожденцев. Мушковаец слушал с притворным интересом и дотошно уточнял систему бесперебойного снабжения школ горячими завтраками. В течение этого разговора Чистяков изо всех сил старался сохранить на лице гримасу почтительного внимания, а сам все ждал хоть сколько-нибудь приличной паузы, чтобы броситься к стенду «Досуг в районе», где его ждала Надя.

Однако БМП без всякого перехода вдруг заговорил о своей недавней поездке в Америку и, кривя тонкие губы, рассказал о том, как в клозете редакции «Вашингтон пост», куда их привели на экскурсию, он, Бусыгин, лично попользовался туалетной бумагой с изображением улыбающегося Рейгана и даже оторвал на память несколько метров, чтобы в Москве показывать недоверчивым друзьям; он пообещал на следующее бюро захватить кусочек и продемонстрировать всем.

Воспользовавшись тем, что члены президиума, забыв про чай, стали шумно обсуждать этот своеобразный факт заокеанской демократии, решительно не находя ему достойного приращения в советской действительности, Чистяков бочком двинулся к служебному входу и, уже притворяя за собой дверь, перехватил удивленный взгляд БМП, как бы говоривший: «А тебе, значит, неинтересно? Ну-ну...»

Надя стояла на том же месте.

– А как тебе конференция? – зачем-то спросил Валерий Павлович, подходя к ней.

– Ты же знаешь, как я отношусь ко всему этому...

– Знаю... Зачем же тогда пришла?

– Я пришла к тебе.

– А иначе бы не пришла?

– Пришла бы... На школу прислали разнарядку: два учителя старших классов и один начальных.

– Какую разнарядку? – оторопел Чистяков, лично проводивший организационное совещание, где три раза повторил: «Никакой обязаловки! Это требование товарища Бусыгина!» – Какую такую разнарядку?!

– Обыкновенную, – усмехнулась Надя. – По-другому не умеете.

– Научимся!

– Не научитесь! – с былой, насмешливой непримиримостью отозвалась она, потом словно спохватилась и уже другим, жалобным голосом спросила: – Валера, ты нам поможешь? Ты должен...

– Должен! – перебил он. – Я всегда всем что-то должен!

– Ты сам выбрал себе такую жизнь, – тихо сказала Надя.

– А ты какую выбрала?

– А я вот такую... Валера...

– Подожди! – снова оборвал ее Чистяков. – У меня иногда такое ощущение, что я кручусь в огромном хороводе. Если хочешь что-нибудь сделать, нужно сначала высвободить руки, но тогда ты сразу выпадаешь из круга и твое место тут же занимает другой...

– Я тебя об этом когда-то предупреждала.

– А почему ты только предупреждала? – так громко, что на них оглянулись, спросил Валерий Павлович. – Ты могла же делать со мной все...

– Нет, не все...

– А я говорю: все! Ты просто не хотела!

– Валера, в той жизни, какую ты выбрал, тебе нужна была другая женщина, – спокойно ответила Надя.

– Откуда ты могла знать, какая мне была нужна женщина?! – почти крикнул Чистяков. Он настырно возвращался к одной и той же теме, чувствовал, что Наде это неприятно, но она терпит и будет терпеть, так как в его руках жизнь ее ребенка...

– Валера, ты нам поможешь?.. – опустив глаза, повторила она.

– Не знаю, – ответил он и ощутил ужаснувшее его удовольствие от того, что может по отношению к Наде быть таким же несправедливым, как и она по отношению к нему самому. – Нет, не помогу. В Нефроцентре новый директор, работает комиссия, госпитализируют по центральному списку. Будь это даже мой ребенок, я ничего не смог бы сделать...

– Валера, это твой ребенок, – сказала Надя.

Тут раздались мелодичные удары гонга, и следом – приятный мужской голос, похожий на тот, что в метро предупреждает о закрывающихся дверях. Это было одно из нововведений директора ДК «Знамя», он решительно в связи с перестройкой поменял старый, дребезжащий звонок на мелодичное «бом-бом-бом» и проникновенные призывы диктора: «Уважаемые товарищи, перерыв окончен. Просим не опаздывать в зал! Уважаемые товарищи...»

Надя молча достала из сумочки цветной снимок с надписью в узорной рамочке: «1-е сентября 1986 г.». На фотографии был изображен маленький Валера Чистяков, но не с козлиным чубчиком по моде 60-х годов, а с полноценной современной шевелюрой, к тому же на нем был надет не тот давешний мешковатый школьный костюм цвета использованной промочапки, а нынешний, темно-синий, приталенный, с блестящими пуговицами; наконец, в руках этот мальчик-двойник держал не здоровенный нескладный портфель из коричневого псевдокрокодила, а маленький разноцветный ранец с картинкой из «Ну, погоди!».

В фойе несколько раз зажгли и погасили свет, но очередь возле прозрачной буфетной витрины продолжала стоять даже после того, как толстая продавщица с каким-то общепитовским кокошником на голове вышла из-за прилавка и, костеря настырного покупателя, принялась шумно собирать со столиков пустые бутылки и грязную посуду. Мимо просеменил вертлявый комсомольский инструктор, назначенный дежурить в холле, и удивленно поглядел на районного партийного полубога, болтающего с земной женщиной в то время, когда районный партийный бог вот-вот начнет отвечать на вопросы актива...

– После конференции никуда не уходи! – приказал Чистяков и нехотя отдал Наде фотографию. – Никуда не уходи, поняла?!

Когда Валерий Павлович вышел из-за кулис и, виновато улыбаясь, сел на свое место, Бусыгин уже взошел на трибуну и, как пасьянс, разложил перед собой многочисленные записки. Мушковец посмотрел на Чистякова с безмолвным упреком.

– Не волнуйтесь, товарищи! – задорно сказал БМП. – Пока не отвечу на все ваши вопросы, не уйду!

– А если до ночи будем спрашивать? – кто-то весело крикнул из зала.

– Нам, функционерам, по ночам работать – дело привычное! – ответил Бусыгин.

Слово «функционер» очень понравилось активу, и зал одобрительно зашумел.

– Я тут рассортировал ваши записки, – продолжал БМП. – Встречаются две крайности. Одних интересуют глобальные вопросы – например, возможна ли перестройка при однопартийной системе? Других беспокоят чисто бытовые проблемы – например, будет ли в магазинах мясо? Так с чего начнем – с многопартийности или с мяса?

– С мяса! – крикнули из зала.

– Проголодались, видно! – усмехнулся Бусыгин, и актив взорвался хохотом и аплодисментами.

Инструктор Голованов встал, подошел к полированному ящичку и высыпал целую пригоршню новых записок. Аллочка, скупавшая возле столика стенографисток, встрепенулась и с плавностью в движениях, сводящей с ума мужиков, двинулась на сцену. Телевизионщики врубили свои юпитеры на полную мощь, и зал сразу превратился в переговаривающуюся, смеющуюся, хлопающую темень...

– Ты где ходишь, барбос? – сердито прошептал Мушковец, как только Чистяков сел рядом.

– Это мой ребенок! – ответил Валерий Павлович.

– Какой ребенок?

– С больными почками...

– Я так и знал! А больше тебе эта аферистка ничего не напела? Внуков с простатитом у тебя случайно нет?

– Это мой ребенок, – твердо повторил Чистяков.

– Точно? – погрузнел дядя Базиль.

– Точно.

– Ну ты и кошкодав! Лялька ничего не знает?

– Нет. Это было до свадьбы... – ответил Валерий Павлович и добавил: – Я завтра пойду к Бусыгину.

– Обязательно! – зло подхватил Мушковец. – Иди и скажи: у меня вчера неожиданно появился ребенок с больными почками и другой фамилией. Нужно положить в Нефроцентр...

– Не юродствуй!

– Это ты не юродствуй! Он же только ждет повода. Кому ты будешь нужен, когда тебе голову оторвут, Валера?!

– Неужели ничего нельзя сделать?

– Не знаю... Я пробовал месяц назад засунуть туда знакомого мужика. Так новый директор – членом его по корреспонденту – сразу БМП накапал. Завернули. А мне по шее...

В зале снова раздалась аплодисменты. Бусыгин отложил отработанную записку и взял другую.

– Жилье. Вопрос, товарищи, сложный, больной вопрос. Все, что можно, делаем: каленым железом выжигаем кумовство и взяточничество, ставим на место тех, кто привык хапать в обход очередников. Тут в записке спрашивают, какая у меня самого квартира. – Бусыгин пристально поглядел в зал и усмехнулся. – Секрета никакого нет. В Подмоскowie, где я раньше работал, была трехкомнатная. Теперь двухкомнатная...

– Правильно, двухкомнатная на двоих, – прошептал осведомленный дядя Базиль, – кухня четырнадцать с половиной метров и холл двадцать два. Мне бы такую двухкомнатную!

– Я с вашего позволения, товарищи, продолжу свою мысль, – холодно сказал БМП и долгим взглядом посмотрел в темный зал. – На особом контроле у нас воины-интернационалисты, им будем помогать при первой возможности! Подробнее о перспективах жилищного строительства в районе, если пожелаете, расскажет зампред исполкома товарищ Мушковец. Вон тот, что так оживленно беседует со своим соседом. Мы его специально позвали. Не волнуйтесь, Василий Иванович, мы дадим вам слово! Позже.

Дядя Базиль мгновенно замолк и только как-то странно щелкнул зубами, точно хотел поймать пролетающую мимо муху.

* * *

Вернувшись с Золотых Песков, молодые поселились в квартире Кутеповых, в Лялиной комнате. На стенах висели многочисленные фотографии, в совокупности дававшие некоторое представление о том, как из глазастого младенца с погремушкой в пухлой ручонке постепенно получилась та самая юная женщина, которая теперь носит твою фамилию и просыпается по утрам рядом с тобой. Кстати, в первое же утро Чистяков встретился с тестем возле ванной: оба в сатиновых трусах, взлохмаченные, с помятыми после сна лицами. Вечером того же дня тонкая Ляля подарила отцу и мужу по роскошному адидасовскому спортивному костюму, купленному в «Березке»: Валере – красный, а Николаю Поликарповичу – синий. Так они с тех пор и завтракали, точно флаг Российской Федерации. Костюм, между прочим, хорошо послужил Валере, особенно когда он начал заниматься большим теннисом, чтобы подтянуть полезший было наружу животик и завести полезные знакомства, потом, постепенно износившись, превратился в спецовку для хозработ на тестевой даче, там он и остался, после того как, насмерть перепуганный новыми временами и бесчисленными отставками, Николай Поликарпович сдуру сдал дачу в пользу инвалидов с детства, но это уже не помогло...

И еще одна неловкость, запомнившаяся с тех примацких времен: Ляля имела обыкновение любить в полный голос, и хотя их комната располагалась на отшибе бескрайней квартиры, временами Валера просто холодел от мысли, что Николай Поликарпович и Людмила Антоновна, готовясь к незатейливому пожилому сну, слышат доченькины вопли и недоуменно переглядываются. Чистяков умолял молодую жену быть посдержаннее, она обещала, крепилась, но внезапно забывалась, и тогда у нее вырывался такой пронзительный крик, что казалось: вот сейчас его подхватят и разнесут по городу законные собаки. Постепенно Лялька сублимировала вопли в зубовой скрежет. И сегодня в их большой бездетной квартире, где при желании можно оборотаться, она в минуты довольно-таки редких объятий только громко скрипит зубами, отчего у Чистякова пробегает по спине озноб...

Через год институт дал своему партийному секретарю приличную двухкомнатную квартиру в Орехово-Борисове. Не въезжая даже, Валера с помощью дяди Базиля поменял ее на другую – со спецпланировкой, возле метро «Новокузнецкая». Ступив на свежоотлакированный

паркет и оглядев чудовищные фиолетовые обои холла, Чистяков начал излагать свою долговременную, рассчитанную на много лет вперед программу благоустройства семейного гнезда, сообщив с гордостью, что мать обещала одолжить денег. «Не бери в голову!» – ответила Ляля.

Вскоре Людмила Антоновна привезла цветной каталог импортной мебели (такие бывают!) и долго спорила с Лялькой. Валера только слышал непонятные названия «Мираж», «Элла», «Раттенон», «Жича», «Сабина»... Потом теща ползала по полу и мерила портняжным метром длину стен, расстояние от батарей и дверных косяков до углов. Потом снова спорили.

Валера уехал на курсы повышения квалификации секретарей парткомов педагогических вузов страны в Ригу, а когда через две недели вернулся, то обнаружил свою квартиру обставленной, даже шторы были подобраны в тон нежной заморской обивке. В маленькой комнате встал чудесный финский спальный гарнитур с широченной кроватью – «сексодромом», по Лялькиному выражению. Большая комната была оборудована под библиотеку-кабинет, и в центре на ворсистом ковре стоял сработанный под ампир письменный стол, причем в одной тумбе был ящик для бумаг, а во второй – музыкальный бар. Застекленные шкафы на гнутых ножках точно присели под тяжестью книг: подарок тестя. Николай Поликарпович в течение многих лет покупал издательскую продукцию по специнформсписку, но читать ему, собственно, было и некогда, а для душевного отдыха у него, как мы уже знаем, имелся баян.

В большом холле теща и Лялька поставили мягкую мебель, золотисто-велюровую, с изысканно-бесформенными очертаниями. На журнальном столике помещалась необыкновенная лампа: матерчатый абажур на гигантской бутылке из-под кьянти. Кухня была похожа на операционную.

Непонятно, почему Чистякову так крепко запало в память то давнее возвращение в свою преобразенную квартиру? Он потрясенно ходил следом за серьезной, словно экскурсовод в Музее Революции, Людмилой Антоновной и даже забыл поставить на пол чемоданчик.

Однажды Валерина мать решила купить новый шифоньер – трехстворчатый, полированный, взамен желтого, обшарпанного, с ободранной местами фанеровкой. Сначала ей пришлось долго уговаривать отца, потом, сломав его сопротивление, она начала копить деньги, далее около месяца ходила по утрам «под магазин» отмечаться в каких-то списках, наконец, неделю караулила момент, когда привезут контейнеры с мебелью... Но так и не уследила, шифоньеры ушли к участникам другой, альтернативной очереди, деньги постепенно разошлись; у них так и остался тот желтый гардероб, который Валера помнил всю жизнь.

Первым, кого Чистяков пригласил в гости, был доцент Желябьев.

В парткоме педагогического института Валерий Павлович профункционировал четыре года. Если нормальный человек двенадцать месяцев прожитой жизни называет прошлым годом, то Чистяков называл их отчетным периодом.

Когда большевики вышли из подполья и обрели политическую власть, они вдруг с удивлением увидели, что строить социализм людям мешает масса глупых и мелких проблем, связанных с добыванием хлеба насущного, устройством жилья, плотской любовью, деторождением, наконец, смертью... Даже ошарашенный совершенно палеозойским сталинским террором, народ все равно больше интересовался своими бытовыми заморочками, нежели воплощением великой идеи. Тогда-то и был найден компромисс: любой партийный работник, в том числе и Чистяков, похож на двуликого Януса, одно лицо обращено в светлое будущее: соцсоревнования, торжественные заседания, митинги, лозунги, демонстрации, призывы, другое – повернуто к конкретному человеку: бесконечные конфликты, в которых принимают участие деканаты, кафедры, преподаватели и даже студенты, квартирные свары, семейные скандалы, аморалка, а в последнее время с ростом льгот фронтовикам прибавились еще разборки с ветеранами – воевал ли, где и сколько...

Особенно дорого Валерию Павловичу досталась история старшего преподавателя Белогривова, носившего на груди целую коллекцию орденов и медалей. Его хотел вывести на чистую воду еще покойный Семеренко и даже откомандировал за институтский счет надежного человека по местам боевой славы липового ветерана. Выяснилось, что Белогривов никакой не командир взвода бронебойщиков, а тыловик, начпродсклада, к тому же чуть не отданный под трибунал за воровство. Выручила Белогривова его тогдашняя подружка, служившая в полевой парикмахерской и упросившая одного генерала, любившего у нее побриться и освежиться, спасти непутевого интенданта. Получив такой роскошный компромат, Семеренко собрался провести партком и стереть в порошок проходимца, но тут раздался звонок с такого заоблачного уровня, что Семеренко помертвел лицом и гаркнул: «Так точно!» Паршивец остался целехонек, только перестал открывать торжественный ежегодный митинг возле мраморной доски с именами преподавателей и студентов, павших на фронте. Рассказывали, у себя на складе Белогривов устраивал веселые вечеринки с девочками, на огонек к нему заглядывали и те, о ком нынче без верноподданнической дрожи в голосе и говорить-то не принято!

Дело Белогривова снова всплыло наружу уже при Чистякове, поводом послужило составление списков для награждения очередной красивой юбилейной медалью, а подлинной причиной – тот факт, что бывший интендант отхватил единственную выделенную на институт «Волгу». Деньги у него водились: он составлял бесконечные сборники воспоминаний фронтовиков. Чистяков, дай ему волю, своими собственными руками удавил бы этого прохвоста с лоснящейся сутенерской рожей и серебрящейся академической бородкой, тем более что институтская масса яростно вопила: «Распни!» Но с заоблачных высот тем временем доносился усталый, но властный голос: «Не трожь!» Валера попал в ту очень характерную для аппарата ситуацию, когда он горел в любом случае. Спас тесть. Он нашел Белогривову место в солидной конторе, занимавшейся укреплением дружбы с народами зарубежных стран: хороший оклад, лечебные и три гарантированных выезда за рубеж в год.

Доверчивая институтская общественность восприняла удаление проходимца как торжество справедливости и блестящую победу молодого принципиального секретаря парткома. Но сам-то Чистяков из всей этой истории сделал для себя важный вывод: главное – избегать конфликтных ситуаций, потому что разрешить их по-божески в конкретных общественно-исторических условиях чаще всего невозможно...

И вот еще одна забавная подробность: Валера долго не мог научиться полноценно сидеть в президиумах, у него от природы было живое лицо, реагиравшее на каждое слово или улыбкой, или гримасой, или зевотой... Однажды старенький, на ходу рассыпающийся профессор, боявшийся пенсии больше, чем смерти, влетел в предынфарктное состояние из-за того, что Чистяков якобы недовольно нахмурился в то время, когда он выступал на факультетском партсобрании. Бедное поколение, выросшее и жившее в эпоху, когда человеческая жизнь висела на кончике хозяйского уса!

Постепенно Валерий Павлович научился цепенеть в президиуме и впадать в анабиоз, надежно закрепив на лице выражение доброжелательного внимания. Кстати, первый, кто посоветовал ему выработать этот жизненно важный навык, был опять-таки любимый тесть Николай Поликарпович, сочинявший все свои брошюры («Наука – производительная сила общества», «Наука и социализм» и т. д.) исключительно в президиумах, а дома быстренько надиктовывавший текст Людмиле Антоновне, в молодости работавшей секретарем-машинисткой в исполкоме.

За это время Чистяков понял еще одну важную вещь: защитная окраска существует не только у насекомых или, скажем, зверушек, у людей она тоже имеется: это очевидная преданность существующему жизнеустройству. Отираясь в коридорах райкома или горкома, общаясь с тестевыми друзьями на рыбалке или в домашнем застолье, Валерий Павлович постепенно усвоил и освоил эту непередаваемую собранную раскованность (или раскованную собран-

ность) номенклатурных мужиков. Ведь можно смолчать, а все равно поймут: не наш человек! Можно рассказать кошмарный политический анекдот или покрыть матерком чуть ли не ЧПБ, а потом, когда все отхохочутся, добавить одну только фразу или как-то особенно дрогнуть лицом, и сразу станет ясно: а все-таки дороже партии у тебя ничего нет!¹

«Научись иногда расслабляться! – учил Валеру дядя Базиль. – Если б Поликарпович не блямкал на своем баяне, то давно бы схлопотал инфаркт. А я вот кузнечиков рисую...» Но Чистяков тоже уже нашел свое: он медитировал в президиумах. Именно так он пережил ужасную Лялькину беременность, два месяца она пролежала на сохранении, чуть не загнулась от интоксикации, а в результате все равно выкидыш, да еще с осложнениями по женской части. «Экспериментировать на других крысах! – сказала она, вернувшись из больницы, тощая и пожелтевшая. – Если потом очень захочется, возьмем из детского дома, а пока я еще жить хочу!»

И Лялька начала жить. Николай Поликарпович издал какой-то здоровенный цитатник, получил кучу денег и подарил ребятам «жигуль». Валере было некогда заниматься на водительских курсах, права получила Лялька. У нее появились новые подруги: одна – дочка крупного общепитовского начальника, другая – молоденькая жена какого-то эмвэдэшного хмыря с лицом постаревшего наемного убийцы и третья – отставная, запойная манекенщица, похожая на грациозную мумию. Манекенщица была у них за бандершу. Таким вот миленьким квартетом они мотались по кабакам, нагоняя страх на директоров ресторанов и вызывая зоологическую ненависть у официантов, которых заставляли крутиться почти так же, как крутятся их коллеги в мире чистогана. Самой изысканной забавой у подруг считалось погримасничать и построить глазки какому-нибудь пьяному мужику за соседним столиком, а когда тот, вдохновясь и надувшись, как на конкурсе мужской красоты, подойдет представиться и осуществить знакомство, отбрить его с аристократической брезгливостью – мол, от вас, любезный, пахнет курицей! Постепенно за подружками укрепились слава компании развлекающихся лесбияночек.

Лялька перевелась на заочное отделение, и отец устроил ее работать в Художественный фонд, а там то вернисаж, то юбилей, то встреча зарубежной делегации, то прием. По пьяному делу Лялька два раза била машину, но эмвэдэшница все устраивала. Это были бесппроблемные времена, когда можно было позвонить, пошутить – и бесследно исчезали протоколы дорожно-транспортных происшествий, свидетели брали свои слова назад, а «жигуль», отремонтированный в каком-то спецавтохозяйстве, через день стоял в гараже новенький, сияющий, без единой царапины.

Потом Лялька связалась не то с кришнаитами, не то с саньясинами – Чистяков, занятый предсъездовской идеологической вахтой, особенно не вникал, – но их любимого гуру замели – или за растление малолетних, или за политику, – и секта распалась. Наконец, Лялька попала в компанию скульпторов-монументалистов, тесавших памятники богатеньким покойникам и заколачивавшим бешеные деньги, даже по мнению манекенщицы, немало повидавшей. Вот тут-то терпение Валеры лопнуло, потому что ваятели покуривали травку, и Лялька возвращалась домой с дурацкой ухмылкой и стеклянными глазами, а поутру лежала трупом и стонала: «Воин-освободитель, спаси!»

«Воин-освободитель» собрал чемодан и уехал жить, нет, не к родителям, уже получившим к тому времени стараниями дядя Базиля приличную квартиру в Нагатине, а к доценту Желябьеву, которого успел сделать своим замом по идеологии. Он в тот период методично осваивал девчушек из отдела мягкой игрушки «Детского мира».

Объясняться приехал тесть. Николай Поликарпович имел известное представление о своеобразном характере и образе жизни своей дочери, но то, что порассказал ему зять, потрясло Кутепова до глубины души. «Я приму решительные меры! – пообещал он. – А ты,

¹ ЧПБ – член Политбюро. (Прим. ред.)

Валера, сегодня же возвращайся домой! Я от Людмилы Антоновны никогда не съезжал, хотя, знаешь, тоже разное бывало...» Валера вечером вернулся домой, но жены там не обнаружил, а позвонив Николаю Поликарповичу, узнал, что тесть забрал ее на перевоспитание. Вернулась Лялька через две недели совершенно покорная и удивила его тем, что приготовила утром завтрак: яичницу с помидорами. Работала она теперь не в Художественном фонде, а во Всероссийском обществе слепых – референтом. «Ну, милый, здравствуй!»

А вскоре на тестевой даче, сидя за столом под большой яблоней и попивая домашнее вино, которое прекрасно изготавливала Людмила Антоновна, Кутепов задумчиво поинтересовался, не засиделся ли Валера в своем педагогическом институте, не пора ли ему, как бы это выразиться, подрасти, что ли. «Да вроде не засиделся!» – ответил Чистяков, успешно прошедший очередную отчетную конференцию и теперь плавно въезжавший в роман с новой, интересной преподавательницей кафедры английского языка. «Правильно, – кивнул Кутепов, – каждый должен добросовестно работать на своем месте. И так у нас прыгунов развелось...»

Через месяц Валерия Павловича утвердили заведующим отделом агитации и пропаганды Краснопролетарского райкома партии. Оказалось, к нему уже давно присматривался первый секретарь Ковалевский; поначалу его смущала молодость Чистякова, но неожиданно эти сомнения рассеялись. Кстати, в отделе, который возглавил Валерий Павлович, культурой по иронии судьбы заведовал – кто бы вы думали? – Убивец. Вот такая, понимаете, встреча в горах...

После первой же планерки Чистяков попросил Иванушкина задержаться. Грустно глядя исподлобья, Валерий Павлович произнес дружеское «сколько зим, сколько лет» и предложил покурить. Они вспомнили институт, свои «сокамерные» времена, замечательное сало, которое привозил Убивец от родителей, ту знаменитую поездку на картошку, где Иванушкина и прозвали Убивцем... О злополучной гэдээровской истории не было сказано ни слова. «Ну что, Юрий Семенович, будем работать!» – докурив, радостно сказал Чистяков и хлопнул своего врага по плечу. «Еще как будем!» – преданно ответил человек, однажды чуть не сломавший Валере хребет.

Как к тому времени понял Чистяков, уничтожение врагов и выдвижение друзей в аппаратной игре называется решением кадровых вопросов. Ты можешь аннулировать человека, стереть его в пудру, развеять по ветру, но если в глазах соратников это будет выглядеть по правилам, работать на интересы дела, все скажут, что ты укрепил кадры; в противном случае сочтут, что ты просто сожрал отличного мужика. Но Убивца Валерий Павлович не тронул по иной причине: он простил его. Так по крайней мере Чистякову казалось.

С Ковалевским Валерий Павлович сработался. Для начала навел порядок в отделе, и теперь уже не случалось, как при бывшем заведующем, отлично ушедшем директором издательства, чтобы цифра занимающихся в системе политпросвещения коммунистов, заявленная в докладе, оказалась больше численности всей районной партийной организации. Кстати, о докладах. Их для Ковалевского сочинял в основном чистяковский отдел. Валерий Павлович довольно быстро схватил незамысловатую манеру своего первого секретаря и научился, посидев вечер-другой, придавать кускам, написанным инструкторами, необходимое стилистическое единообразие. Особенно удавались ему характерные для Ковалевского грубоватые колкости в адрес руководителей, не выполняющих плановых заданий. Выходя на трибуну с текстом, сочиненным Чистяковым, Владимир Сергеевич Ковалевский чувствовал себя легко и надежно, словно сам его и написал...

Еще руководя парторганизацией пединститута, Чистяков понял важную вещь: окружающие люди, как ни крутись, видят в нем пока всего лишь зятяка могучего деятеля городского уровня, особо приближенного к столичному лидеру, и, естественно, ждут от Валеры или откровенного хамства, или той утонченной спеси, каковую являют наиболее умные и дальновидные родственники сильных мира сего. Однако ни того ни другого в этом молодом, энергичном

мужчине с хорошей белозубой улыбкой и ранней сединой они при всем желании усмотреть не могли. Чистяков держал себя так, словно его единственной опорой и поддержкой в этом яростном мире был только папа-заводчанин, выпивающий каждый вечер свою законную четвертинку. Однажды, в розовощеком детстве, был вот какой случай. В пионерском лагере Валера задружился со здоровенным шпанистым пацаном по имени Ренат, две недели союзники держали в страхе весь отряд и жили как хотели, а потом Ренат обожрался зеленых яблок, заболел дизентерией и был увезен на лечение в Москву. Дни, оставшиеся до окончания смены, Чистяков прожил кошмарно: его били почти каждый день...

Между прочим, Николай Поликарпович был чрезвычайно доволен выбором своей дочери: страшно подумать, какого шалопаля Лялька при своей доверчивости могла привести в дом! А Валера... Его не нужно было тащить за уши, доказывая, например, что нерасторопность – это не тупость, а привычка к обдуманности и обстоятельности, не нужно было вытаскивать из нехороших историй, объясняя, будто все они подстроены с исключительной целью – навредить ему, Кутепову... А нужно было просто делать так, чтобы наверху, там, достоинства Чистякова были всегда на виду, а промахи по возможности неведомы...

Отдел Валерию Павловичу достался сложный: попробуй пропагандировать то, чего нет, и агитировать за то, чего никогда не будет! Чем занимались, боже мой, чем занимались?! Всего за одну ночь установили самый большой в столице портрет Брежнева. Размах бровей – два метра! Установили сразу же после присуждения Ленинской премии. В других районах еще неделю чесались, а у них в Краснопролетарском: вечером сообщила программа «Время», а утром уже вывесили портрет с новенькой лауреатской медалью на неестественно широкой груди, специально нарисованной так, дабы уместились все награды. А когда по «вертушке» позвонил помощник Генерального и передал добрые слова от Самого, у Ковалевского, который явно недолюбливал бровеносца со всей его шайкой, даже сердце на радостях прихватило – неотложку вызывали...

А вот с Убивцем пришлось расстаться. Случилось это неожиданно. Семейный человек, Иванушкин по случаю обрюхатил Аллочку Ашукину: поехал, пакостник, с молодежью на выездную учебу и, как говорится, отметился, а девчонка втрескалась со всего юного разбега и захотела, декабристка, рожать. Любовь! Убивец ее, правда, уболтал, положил в больницу, а когда чистили, как водится, занесли инфекцию – девчонка под капельницей лежала. Конспиратор Убивец, конечно, ее не проведаль – и она, бедненькая, понимала: нельзя! Но не послать даже букетика или пары бутербродов с севрюгой из райкомовской столовой!... Помнится, тогда к Валерию Павловичу пришел посоветоваться первый секретарь райкома комсомола Шумилин, надежный парень, который погорел потом на дурацкой истории с хулиганами, залезшими в зал бюро и устроившими погром... Он принес гневное коллективное письмо работников комсомольского аппарата и актива.

Чистяков вызвал к себе Убивца, положил перед ним «телегу» и грустно сказал: «Извини, старик, самое большее, что могу для тебя сделать, это дать лучшие референции. Ищи, Юра, себе место!» – «Это ты зря... – отозвался Иванушкин. – Я бы на твоём месте не упускал случая – добил бы!» – «Вот поэтому ты на своём месте, а я на своём!» – миролюбиво ответил Валера.

Убивец перешел в Дом политпросвещения и даже выиграл четвертак в зарплате, но это было тупиковое, гиблое место, откуда обычно выносили под звуки казенного оркестра, а впереди, на подушечке, – единственная медаль «За трудовую доблесть», полученная на заре жизни, когда над головой было небо. Кто же мог подумать, что Иванушкин отсидится там, оботрется, подшустрит и организует первый в стране кабинет компьютерной грамотности совпарработников?! И уж никто не мог предположить, что на открытие этого чуда советского двадцатого века придет новое городское руководство, озабоченное кадровыми проблемами, заметит Убивца и возьмет его в аппарат горкома сразу замзавотделом, аккурат под любимого

Валериного тестя Николая Поликарповича... Но это случилось потом, а пока все шло весело и слаженно, как пионерское приветствие районной партийной конференции.

За окнами райкома текла обыкновенная жизнь, которой Валерий Павлович якобы управлял. Но он-то понимал: если из тех людей, что толпятся на остановках, выходят из магазинов, стоят возле газетных стендов, сидят на скамейках, хотя бы каждый десятый похож на Надю Печерникову, то все эти потуги на руководящую роль – просто чепуха на постном масле! Кстати, о Наде Чистяков вспоминал довольно часто. Не скроем, она, воспоминания о ней очень помогали Валере в те трудные полусонные минуты, когда приходилось-таки проявлять к опостылевшей Ляльке определенный супружеский интерес, а интереса-то не было – была только какая-то холодная изжога в душе...

Однажды Валерия Павловича срочно вызвал Ковалевский и, матерясь, достал из сейфа номер молодежного журнала. Чистяков подумал о том, что, вероятно, шеф начинает потихоньку сдавать, если прячет в спецсейф журналец, каковым завалены все киоски «Союзпечати». Перенапрягшееся поколение!.. «Библиографическая редкость!» – объяснил Ковалевский. «Раритет!» – подхватил Чистяков руководящую шутку. «Я тебе серьезно говорю! Весь тираж “под нож” пустили. Осталось несколько штук – вещдок...» «А в чем дело?» – посерьезнел Валерий Павлович. «А ты почитай! Страница пятьдесят четвертая. Завтра на бюро будем исключать». – «Автора?» – «Автор беспартийный, его по писательской линии накажут. Исключать будем заместителя редактора... Выступишь – и разнесешь по науке...»

Рассказ назывался «Провокатор». На фотографии чернело изуродованное родной полиграфией лицо автора – некоего Олега Соломина, а чуть ниже стояло посвящение, естественно, дамочке, из чего Чистяков сделал заключение, что этот шелкопер печатается недавно и еще не успел через прессу отблагодарить всех своих приятельниц. «Другу Наденьке», – усмехнулся Валерий Павлович и внимательно, с карандашом в руке принялся читать художественное произведение, из-за которого пустили «под нож» целый тираж и гонят из партии приличного, заслуженного мужика. Чистяков сразу же подчеркнул двусмысленную фразу, пометил сбоку свое непримиримое отношение к ней и постарался запомнить ее – настолько была хороша и остра. А переворачивая страницу, Валерий Павлович вдруг понял, что Олег Соломин – это тот самый засушенный богомол... Ну да – муж Нади... А «друг Наденька» – это сама Надя... Надя Печерникова... И он начал читать сначала и читал уже не с политической бдительностью и не с тайным удовольствием, а с болезненной ревностью.

Рассказ был вот о чем. Россия. Начало века. Губернский город Н. Юному студенту, члену подпольной организации Валериану Винчевскому поручено убить местного генерал-губернатора, совершившего чудовищное преступление – он приказал выпороть арестованного революционера! В тайной лаборатории, законспирированной под зубоврачебный кабинет, где священнодействует Химик, гениальный ученый, выгнанный из университета за то, что плюнул в лицо жандармскому полковнику, изготавливается бомба. На сей раз Химик обещал создать совершенно необыкновенный метательный снаряд, способный разнести царского сатрапа по молекулам.

Валериан Винчевский (он, между прочим, прямой потомок польских патриотов, сосланных за участие в восстании Костюшко) начал выслеживать подлеца губернатора, дабы поточнее определить место, наиболее удобное для возмездия. Выяснилось: каждое воскресенье под приглядом до зубов вооруженного терского казака злодей генерал подъезжает к воротам городского сада, отпускает охрану покататься на карусели, а сам неторопливо прогуливается по аллеям и поглаживает по головкам попадающихся детишек.

Карать постановили в городском саду. Но среди подпольщиков разгорелся жаркий спор: наиболее яростный, негнбимый боевик Булатов требовал любой ценой взорвать негодяя, пусть даже погибнут невинные младенцы, принадлежащие, между нами говоря, к классу эксплуататоров и кровопивцев. Валериан же еще не ожесточился сердцем и хотел привести при-

говор в исполнение так, чтобы никто другой не пострадал. Под видом коробейника он продолжал наблюдения и даже случайно попал в руки жандармов, но его спасло умение показывать карточные фокусы: от души потешившись, цепные псы царизма отпустили его на все четыре стороны.

Однажды Валериан, теперь уже загримированный под калику переходящего, заметил любопытную закономерность: во время каждой своей воскресной прогулки генерал-губернатор неизменно подходит к гордости городского сада – вековому дубу, выжидает момент, когда кругом никого нет, и торопливо засовывает руку в дупло. Таким романтическим образом старый повеса обменивался нежными посланиями со своей замужней любовницей – известной провинциальной актрисой. И Винчевский решил убить сановного насильника возле заветного дуба.

Никто не понимал, как это произошло... Или гениальный Химик запутался в ингредиентах, или сам юный террорист от волнения замешкался, но бомба взорвалась у него прямо в руках. Когда, соскочив с карусели и выхватив шашку, терский казак примчался на место преступления, то увидел опаленные бакенбарды смертельно испуганного, но живого и невредимого генерал-губернатора. А вот от покушавшегося не осталось ничего: ни клочка, ни кусочка, ни горстки праха...

Валериан Винчевский очнулся возле того же самого дуба. Ему казалось, что все его тело подобно сосуду, некогда разбитому вдребезги, а теперь вот склеенному из мелких осколков. Знакомое дерево выглядело обветшавшим и стояло теперь не в городском саду, а посередине мощеной площади, неподалеку от белокаменного здания с развевающимся красным флагом на крыше. Дуб был огорожен узорчатой решеткой и оснащен табличкой:

*На этом месте 16 октября 1902 года
студент-революционер В. В. Винчевский
(1883–1902)
совершил героическое покушение
на одного из царских палачей.
Слава павшим героям!*

Ничего не понимая, юный террорист огляделся окрест и увидел, что окоем закрыт дымящимися трубами и высокими, похожими на пчелиные соты, домами, что в небе тяжело плывет серебряный летательный аппарат и что на фронте белокаменного здания трепещет лозунг: «Пятилетке качества – рабочую гарантию!» И тогда Винчевского осенило: да-да, в результате непостижимого взрыва бомбы он в мгновение ока перенесся в светлое будущее, где победивший народ установил, как некогда и во Франции, новую форму исчисления времени, в данном случае – пятилетками...

Чтобы утвердиться в своей догадке, Валериан стремглав бросился к белокаменному дому, впоследствии оказавшемуся облисполкомом. Возможно, потому, что он начал жадно расспрашивать выходящих оттуда серьезных товарищей, каково нынешнее политическое устройство России, а может быть, одет он был, точно студент с известной картины Ярошенко: глухой плащ и надвинутая на глаза шляпа... Одним словом, Валериана забрали в милицию. Юный революционер попытался обрести свободу при помощи своих чудесных карточных фокусов, но его похлопали по плечу, посоветовали не зарывать талант в землю и отправили в камеру. Никаких документов при себе у Винчевского, естественно, не было, а рассказать всю правду он не отважился, ибо понимал: его правда фантастичнее всякого вымысла.

В камере наш узник познакомился с местным краеведом Кулеминым, севшим на пятнадцать суток за то, что в сердцах обозвал вандалом главного областного руководителя, предлагавшего спилить исторический дуб и воздвигнуть взамен гранитный обелиск «Вы жертвою пали!». Оказалось, Кулемин давно уже занимается историей неудачного покушения Винчев-

ского и не один год бьется над загадкой, куда все-таки подевалось тело отважного террориста. Из глубин истории доходили слухи один нелепее другого. Известный дореволюционный фольклорист даже записал в торговых рядах сказ о том, как злой «енерал-убиватор» закатал тело отважного юноши в стеклянную бочку с «зеленым вином» и спрятал у себя в подвале. Однако даже видный подпольщик Булатов, возглавлявший после революции кожевенную промышленность губернии и написавший интересные мемуары «Рядом с легендой. Мои встречи с Валерианом Винчевским», обошел загадочное исчезновение тела стороной.

Расхаживая по камере, краевед с увлечением рассказывал о том, что поднял даже учетные книги мертвецких – никаких обнадеживающих сведений! Только через месяц после покушения на пустыре за трактиром был найден мертвый юноша с огнестрельной раной в области сердца, опознать его не смогли и похоронили в безымянной могиле. «Через месяц...» – прошептал Валериан. «Через месяц, – подтвердил Кулемин и впервые взгляделся в лицо своего товарища по несчастью. – А вы знаете, молодой человек, вы очень похожи на Винчевского... Случайно не родственник?» – «Я его родной внук! – неожиданно для себя выпалил Валериан. – Решил побывать на месте гибели деда, а документы украли в поезде...» – «Так что же вы молчите!» – вскричал Кулемин и принялся яростно колотить кулаками в железную дверь камеры.

...Валериану Винчевскому было плохо, а почему – непонятно. Он уже пришел в себя после шумной, с бесконечными застольями двухнедельной поездки по трудовым коллективам региона и оправился от простуды, которую подхватил во время ноябрьской демонстрации, стоя на трибуне рядом с главным руководителем области, по иронии судьбы носившим ту же фамилию, что и недобитый генерал-губернатор. Он даже успел полюбить молодую красивую учительницу словесности Марию Васильевну, пригласившую Валериана на свой открытый урок. Сегодня утром, после безумной ночи любви, она наконец согласилась стать его женой!

И все-таки Валериану было плохо... Он вышел на воздух из гостиницы, где проживал, покауда достраивался обкомовский дом, где ему обещали двухкомнатную квартиру и где он собирался счастливо зажить с Марией Васильевной, вышел и направился к краеведческому музею. Позавчера Винчевский стал директором этого музея вместо несчастного Кулемина, госпитализированного с неприятным диагнозом: краевед стал кричать на всех перекрестках, будто труп неизвестного юноши, найденный на пустыре, и есть пропавшее тело революционера.

Путь Валериана лежал мимо исторического дуба, точнее, мимо того места, на котором еще недавно росло знаменитое дерево, а теперь вот светлел свежий спил... Винчевский горячо поддержал идею строительства на месте сорванного желудями дуба прекрасного мемориала в честь павших борцов! Смертельно уставший террорист присел на широкий пенек, вздохнул и внезапно ощутил во всем теле страшную боль, он почувствовал себя неким хрупким сосудом, и этот скудельный сосуд некто огромный и сильный со всего маху хрястнул о мостовую, так что брызнули осколки...

Рассказ, как сейчас помнил Чистяков, заканчивался донесением тайного агента охраны Булатова, внедренного в подпольную организацию с целью подготовить покушение на генерал-губернатора, не сработавшегося с кем-то там из петербургского начальства. Булатов нижайше доносил, что примерно через месяц после неудачного теракта на тайную квартиру, единственную оставшуюся после повальных арестов, явился собственной персоной Валериан Винчевский.

Одет он был в странный шуршащий плащ, вероятно американский, и шапку, похожую на те, что носят бедные селяне и называют «треухами», но только пошитую из ондатры. Воскресший террорист заявил немногим уцелевшим членам некогда мощной подпольной организации, что якобы благодаря взрыву бомбы попал в будущее, воротился назад и теперь знает, к чему приведет их борьба! «Так вот кто, значит, предал нашу организацию!» – вскричал Булатов, опасавшийся черт знает откуда взявшегося Винчевского. «Я был там... я все понял! – твердо ответил Валериан. – Слушайте!...» – «Смерть провокатору!» – оборвал его Булатов, выхватил

револьвер и выстрелил юноше прямо в грудь. Ночью завернутое в холстину тело осторожно вынесли из дома и бросили на пустыре за трактиром...

Заместителя главного редактора из партии не погнали, ограничились строгим с занесением, хотя Чистяков в своем выступлении говорил и о «ложной идейно-художественной концепции» рассказа «Провокатор», и о «прямой клевете на историю нашего освободительного движения». Стоя перед членами бюро, седой мужик с орденскими планками на пиджаке расплакался, как мальчик. Выяснилось, что он страдает запоями. Страдает давно, с войны, а началось все с тех самых «наркомовских ста грамм». Привозили из расчета на роту, а от роты после атаки и взвода не оставалось... Вот с тех пор он так и живет: полгода как человек, а потом вдруг на неделю точно в яму с помоями проваливается. Спасибо хоть сослуживцы всегда с пониманием относились, прикрывали – запрут в кабинете и отвечают: отъехал, вышел, вызвали наверх... Потом пришел новый ответственный секретарь, который сразу же прицелился на место заместителя, он-то и подсунул тот дурацкий рассказ для ноябрьской книжки: мол, все тип-топ, про революционеров... Кому взбретет, что про революционеров можно как-то не так... Ну, не читая, подписал... А у цензора в тот день было отчетно-выборное профсоюзное собрание, он у них там в Главлите культурно-массовой работой занимается, торопился и тоже проштамповал не глядя... «Простите, товарищи, если сможете! До пенсии полгода осталось!»

Наверное, его все-таки погнали бы из партии, но всех возмутило выступление главного редактора Алиханова, гладкощекоего демагога, выкручивавшего из тонкого молодежного журнала себе столько, сколько не выкручивали старорежимные латифундисты из орловского чернозема! Он сообщил, что, к сожалению, когда случилось это безобразие, находился в Австралии на конференции «Детство в ядерный век», а то, разумеется, прочитав одну только строчку, сразу бы снял рассказ... И вот теперь, уезжая в Штаты на симпозиум, он просто не решается оставить журнал на пьющего и небдительного человека. «А вы не оставляйте!» – побагровев, посоветовал Ковалевский – последний раз он был за границей два года назад, в Венгрии. «Что?» – «А то самое! Разъездился... Вы редактор журнала или путешественник Пржевальский?» Путешественник только дрогнул усами... Потом, когда Ковалевского катапультировали, друг детей припомнил ему этот разговор и в газете «Правда» в разгромной статье «Мастодонты застоя» хорошенько поплясал на косточках Владимира Сергеевича. В общем, историю с рассказом спустили на тормозах, заму – строгача, главному – на вид. А вот имя Соломина попало в какое-то закрытое письмо о бдительности и идеологическом чутье. С тех пор Олегу не то что рассказ, объявление в бюллетене обмена жилой площади было не напечатать... Чистяков представил себе, как Надя утешает своего засушенного богомола, разозлился и выбросил из головы всю эту историю.

Заведующим отделом Валерий Павлович проработал три года. Однажды, сидя под яблоней на даче и попивая домашнее вино, Николай Поликарпович задумчиво спросил: «Валера, а не пора ли тебе подрасти?» Через месяц Валерий Павлович стал секретарем райкома по идеологии, самым молодым в городе... Теперь отвозила его на работу и привозила домой черная «Волга», обедал он теперь не в большой общей зале, а в специальной, обшитой деревом комнате вместе с Ковалевским, другими районными боссами и заезжими величинами. Вчерашние коллеги – заведующие отделами – резко перешли с «ты» на «вы», даже дядя Базиль, продолжая называть Чистякова «барбосом», стал вкладывать в это слово особый, уважительный смысл. Теперь Валера не переписывал доклады за нерадивых инструкторов, а только тоненьким карандашиком помечал, где и как нужно переделать. И даже Кутепов стал иногда обращаться к Валере за помощью: один раз – чтобы устроить на работу в районе дочь одного хорошего человека, другой раз – чтобы пробить гараж известному массажисту-экстрасенсу.

Конечно, трезвомыслящий Чистяков понимал, что пока еще остается обыкновенным малозаметным муравьем в этой огромной всесоюзной куче, но одновременно он ощущал, как трепещут и разворачиваются на ветру недавно выросшие, нежные, прозрачные крылышки.

Еще немного – и полетишь! Увы, Валера размяк и не сумел по достоинству оценить опасности, связанной с роковым приходом БМП.

Да, Чистяков немного расслабился. У него завязался хороший, спокойный романец с разведенной журналисточкой, одиноко существовавшей в уютной кооперативной квартире, куда можно было приехать, предварительно позвонив, в любое время, чтобы отдохнуть телом и душой.

Семейная жизнь тоже наладилась. Все то, за чем раньше Лялька бегала к папе, теперь можно было получить от мужа. Она успокоилась, поступила в очную аспирантуру, занялась влиянием Бердслея на русскую графику начала века, и Чистяков через Академию художеств устроил жене трехмесячную стажировку в Лондоне. Единственное, что осталось у Ляльки от былых загульных времен, – это увлечение разной чертовщиной, например спиритизмом. Подружек она своих растеряла, отношения поддерживала только со вдовой эмвэдэшника (он застрелился на следующий день после падения Щелокова), вдвоем они частенько по вечерам крутили блюдечко, и однажды Лялька взволнованно сообщила Чистякову: «Знаешь, что сказал нам сегодня дух Чапаева?!» – «Что?» – «По коням!»

Ковалевского и Кутепова освободили от занимаемых должностей в один и тот же день, на одном и том же заседании бюро горкома партии. Случилось это через месяц после прихода БМП. Николай Поликарпович держался молодцом; выйдя из зала, он пошутил со случившимися рядом аппаратчиками про отставку без мундира, прошел в свой кабинет, заперся, достал баян и полчаса играл вальс-каприс: заканчивал и начинал снова. Потом он позвонил домой и сказал Людмиле Антоновне, с самого утра томившейся неизвестностью: «Сняли». Людмила Антоновна в ответ только захрипела и начала, как рассказывала потом присутствовавшая при сем Лялька, медленно заваливаться на бок – сердечный приступ... В больнице Людмила Антоновна не хотела даже видеть Николая Поликарповича и отворачивалась к стене, когда он приходил ее проведать: не могла простить Кутепову, что за месяц до роковой развязки тот сдал дачу под профилакторий для инвалидов с детства. Чистяков понял, что положение нужно исправлять, и организовал своему поверженному тестю шесть соток в хорошем садовом-огородном товариществе где-то под Чеховом. Сам же Валерий чувствовал себя прочно и даже однажды на совещании удостоился похвальной реплики нового городского руководства, которому понравилась чистяковская молодость...

Бусыгин обрушился на Краснопролетарский райком, как ураган «Джоанн» на курорты атлантического побережья. Знакомясь с аппаратом, он сразу заявил: «Кто не чувствует сил работать в новых условиях, пусть поднимет руку!» Никто, разумеется, не поднял, ибо последним человеком, осознавшим, что не может работать в новых условиях, был отрекшийся от престола государь-император Николай Александрович.

Из райкома стали исчезать люди. Заведующий промышленным отделом, три года назад перетянутый Ковалевским из парткома производственного объединения, а ранее бывший начальником лучшего цеха, проговорив с Бусыгиным пять минут, вышел из кабинета со слезами на глазах и тут же написал заявление... А БМП, как Гарун-аль-Рашид, благо в лицо его покамест не знали, ходил по магазинам района и невинно интересовался у продавцов, куда девались мясо и колбаса, точно и в самом деле не знал, куда они подевались! Продавцы отвечали дежурным хамством, тогда Бусыгин скромно стучался в кабинет директора магазина, снова выслушивал торгашеское хамство, но уже на руководящем уровне, а в тот самый момент, когда, призвав на подмогу дюжего продавца мясного отдела, его начинали вытряхивать из кабинета, доставал свое новенькое удостоверение – и владыка жизни, директор продмага, распался на аминокислоты.

Бусыгин на встрече с избирателями пообещал закрыть в райкоме спецбуфет и закрыл. Пообещал провести праздник района и провел – с тройками, скоморохами, лоточниками, сбитенщиками... «Народ покупает, кошкодав!» – сказал об этом дядя Базиль. Было у БМП еще

два пунктика: тир, чтобы пацаны не шастали в подворотнях, а готовились к службе в армии, и бани-сауны, чтобы рабочий человек после трудового дня мог передохнуть и попариться... И если какой-нибудь директор завода, не выполнявшего план, закладывал у себя на территории тир и баню, то сразу же попадал в число любимцев нового районного вождя...

Бусыгин невзлюбил Чистякова с самого начала: Валера оплошал и опоздал на церемонию знакомства нового первого с аппаратом. В тот день Чистяков участвовал в открытии интервиставки «Роботы в быту», говорил спич и поэтому оделся соответственно – в отличную импортную велюровую «тройку» с аристократически зауженными плечами. «Тройку» прикупила ему Лялька, сначала врала, что в «Березке», а потом случайно выяснилось: костюмчик ранее принадлежал покойному эмвэдэшнику, но поносить его он так и не успел...

Чистяков вошел в конференц-зал в тот самый момент, когда БМП начал свою тронную речь, громя коррупционеров и перерожденцев, променявших первородство социалистической идеи на чечевичную похлебку личной благоустроенности. И тут, словно талантливая иллюстрация к гневным словам нового босса, на пороге возник Валера, в своем унаследованном костюме, с красным супермодным галстуком, сам чем-то похожий на фирмача или советского перерожденца. Бусыгин на мгновение замолк, надломил бровь и сказал: «Когда я работал учителем, то за пятиминутное опоздание вызывал родителей! В следующий раз позвоню вашему тестю!»

Честно говоря, Валерий Павлович подоби́делся, но не придавал тому случаю должного значения, надеясь верной службой наладить отношения с крутым шефом. Чистяков, как, впрочем, и весь аппарат, приходил в восемь – уходил в десять, забыл про уик-энды, ловил и исполнял каждое пожелание Бусыгина и однажды, услышав, будто первого греют массовые народные действия первых лет революции, устроил на площади перед райкомом гигантскую манифестацию с символическим сожжением чучела бюрократа застойного периода. И только однажды, когда снимали с работы заведующего РОНО, Чистяков, который и привел его на это место, робко заметил, что так можно и совсем без кадров остаться... БМП в ответ ничего не сказал и только глянул с нехорошим любопытством. Непонятно, почему Бусыгин до сих пор не тронул Валерия Павловича по-настоящему? Может быть, чувствовал, что к нему неплохо относится город, или не хотел, чтобы молва увязала уход Кутепова с мгновенным падением его молодого и хорошо зарекомендовавшего себя зятя, а возможно, БМП просто еще не подобрал в своем медвежьем углу человека, достойного быть секретарем в столичном райкоме, впрочем, вероятнее всего – Валеру просто оставляли напоследок, как приберегают в тарелке самый большой пельмень...

А пока БМП все вопросы, которые курировал Чистяков, замкнул на себя, телефоны в Валерином кабинете молчали как мертвые, и сотрудники опасливо обходили кабинет опального секретаря стороной, точно он недавно скончался от СПИДа, а санэпидемстанция еще не успела продезинфицировать помещение.

Чистяков переживал трудное время. Выписалась из больницы Людмила Антоновна, а летом Николая Поликарповича долбанул инсульт. Он, чтобы заслужить прощение жены, ввязался в строительство садового домика, добыл благодаря оставшимся связям десять кубов вагонки и складировал на участке, а когда приехали шабашники обшивать домик, то вагонки на месте не оказалось – свистнули, подогнали грузовик, покидали в кузов и увезли в неизвестном направлении, потоптав к тому же все посадки. «Я его понимаю! Разве можно спокойно смотреть, как разворовывают страну?» – молвил дядя Базиль, выходя из палаты, где лежал Кутепов. У тестя отнялась правая рука, а вместо слов получалось теперь какое-то слюнявое гуканье. Вернувшись домой, Николай Поликарпович часами сидел на тахте, поглаживая действующей рукой перламутровый бок своего любимого баяна. Лялька забросила диссертацию и спиритизм, ходила за отцом, как за маленьким, и несколько раз заговаривала с Валерием Павловичем про то, что хочет вынуть спиральку и еще раз попробовать с ребенком, а если не получится, взять кого-нибудь из детского дома...

Как-то раз после совещания секретарей к Чистякову в буфете горкома подсел со стаканом чая Убиец, расспросил про здоровье тестя, рассказал анекдот про город Чмуровск, где ни хрена нет, даже антисемитизма, а потом между делом сообщил, что у БМП с городским руководством был о нем, Валере, очень странный разговор и что вроде бы Бусыгин получил-таки «добро» на устранение Чистякова. «Не зевай! Скоро эта сенокосилка и до тебя доедет!»

В тот вечер Валерий Павлович возвращался домой своим ходом. Машину отдал Ляльке – свозить тестя в кооперативную поликлинику: от Четвертого управления Кутепова открепили, а участковый врач может поставить только один диагноз: «жив – мертв». Чистяков, оказываясь, совершенно отвык от суетливых, толкающихся, потных сограждан, которые, плюхнувшись рядом на прогалину дерматинового диванчика и усаживаясь поудобней, как-то по-куриному двигают задницами; он отвык от этого дурацкого предупреждения: «Осторожно, двери закрываются!», воспринимающегося теперь в некой глумливой связи со всем тем, что случилось с Валерием Павловичем за последнее время.

Напротив Чистякова сидел какой-то зачуханный мужик в лоснящемся зеленом костюме с вызывающим среднетехническим «поплавком» на лацкане. Но рядом с этим чучелом стояла очаровательная девчушка, темноволосая, голубоглазая, с белым упругим бантом на макушке. Он, видимо папаша, нудно наставлял ее, а она, видимо дочь, послушно кивала и гладила его костлявую руку. А потом они стали как бы мириться и сцепили мизинцы – маленький, розовенький и длинный, крючковатый, с желтым загибающимся ногтем... При виде этого ногтя Чистякову стало тошно, он выскочил на остановке, дождался другого поезда, но поехал не домой, а к дяде Базилу, с которым и напился до полного собственного изумления.

* * *

Благодаря многолетнему опыту Валерий Павлович очнулся и подключился к происходящему в самый нужный момент. Бусыгин читал вслух очередную записку: «Михаил Петрович, почему же раньше у нас не было таких острых конференций, а только одни занудные собрания?»

– А вот этот вопрос – прямо секретарю райкома партии по идеологии товарищу Чистякову. Полагаю, на ближайшем пленуме мы поспрашиваем его... А он нам ответит! Наш принцип в кадровой политике, товарищи, такой: не умеешь работать по-новому – уходи!..

Пока БМП произносил этот приговор, Валерий Павлович равнодушно разглядывал страницу своего еженедельника, на которой красовалось дважды подчеркнутое слово «Надя» с жирным знаком вопроса. Потом Чистяков скосил глаза на листок, лежавший перед Мушковым, – на нем был изображен очень странный кузнечик, скорее всего какой-то мутант: яйцеклад зазубрен, как пила, передние лапы похожи на скорпионьи клешни, а челюсти огромны и кровожадны...

Василий Иванович и Валерий Павлович обреченно переглянулись, а Бусыгин тем временем уже рассказывал про то, как борется против использования служебных машин в личных целях. В частности, сегодня вечером все работники аппарата райкома, включая и самого БМП, разъедутся с конференции своим ходом, а не на традиционных черных «Волгах»... Заодно проверят работу муниципального транспорта! Зал устроил овацию.

– Нравится? – тихо спросил дядя Базиль, имея в виду нарисованное кузнечикоподобное чудовище.

– Роскошно! – отозвался Чистяков.

– Я, знаешь, в детстве здорово рисовал... Мне даже советовали в Строгановку поступать... – вздохнул Мушковец.

Конференция закончилась почти в одиннадцать часов вечера. Но Бусыгин еще спустился в зал и продолжал отвечать на вопросы в гуще масс, как это теперь стало модно.

– На работу завтра не проспите? – тепло шутил он.

– Не проспим-им! – радостно отвечали люди.

БМП окружили плотным кольцом, смотрели на него с обожанием, а он удовлетворенно улыбался, подобный председателю колхоза, сфотографированному на фоне выращенного им небывалого урожая. Сотрудники аппарата сбились поодаль и, терпеливо удерживая на лицах гримасы умиления, ждали, когда же народ отпустит своего первого секретаря.

– А вы рано просыпаетесь? – спрашивали люди.

– В шесть! – отвечал БМП.

– Ого!

– Час занимаюсь физкультурой по старославянской системе. Потом бегаю от инфаркта. В восемь на работе.

– Молодец...

Вдруг какая-то глупенькая девочка с сахарорафинадного завода протянула Бусыгину свой пригласительный билет и робко попросила автограф. БМП в ответ добродушно рассмеялся, сказал, что он не кинозвезда, а скромный партийный функционер, но автограф дал – и тут же десятки рук протянули ему свои глянцевые картонки с золотым тиснением... Смущенно пожимая плечами, БМП принялся надписывать бесчисленные пригласительные билеты.

– Вот это популярность! – Рядом с Чистяковым стоял Убиец и нежно наблюдал происходящее. – Любимец публики. К нам и то телевидение не ездит...

– Да-а... Теперь вот так... – неопределенно ответил Валерий Павлович.

– Давай-ка, Валера, я тебя домой подброшу! – предложил Иванушкин. – Ты у нас теперь безлошадный. Заодно и поговорим!

Чистяков заколебался: конечно, Убиец зря не подойдет – есть у него какая-то важная информация, но, с другой стороны, вот так запросто уйти во время небывалого единения БМП с народом – это откровенная демонстрация неуважения, совершенно лишняя для Валерия Павловича в его нынешнем положении.

– Брось! – заметив его сомнения, сказал Убиец. – Тебе это больше не нужно...

– Не понял, – похолодел Валерий Павлович.

– Поехали – объясню...

– Хорошо, – решил Чистяков. – Машина у служебного?

– Да.

– Хорошо... Я сейчас.

Он торопливо пошел, почти побежал в фойе. Свет там был уже погашен, стулья поставлены на стол ножками вверх. Только в подсобке мерцал огонек, и было видно, как толстая буфетчица, слюня пальцы, пересчитывает выручку. Надя стояла на том же месте, где еще совсем недавно имелся стенд «Досуг в районе», разобранный и унесенный сотрудниками отдела пропаганды.

– Прости меня за настырность, – увидев Валерия Павловича, начала Надя.

– Ну о чем ты говоришь! Просто у меня сейчас трудное время...

– Да, я слышала...

– Слышала?! – дрогнул Чистяков и понял: если вопрос о снятии секретаря райкома дошел уже и до школьных учителей, дела его действительно ни к черту...

– Я слышала, как тебя Бусыгин критиковал, – объяснила она.

– А-а... Тебе нравится Бусыгин?

– Нет. Он упивается властью. Это плохо кончится...

– Для кого?

– Для всех. Людьюми может управлять только тот, кому власть в тягость.

В фойе ввалилась ватага дружинников. Из-за нехватки мест народ стихийно перетащил стулья из буфета в зал, и вот теперь их возвращали на место. Завхоз показывал, куда ставить,

и громко ругал самовольство активистов, однако, заметив Чистякова, замолк и принялся сосредоточенно пересчитывать стулья, за которые нес материальную ответственность.

– Надя, – тихо проговорил Чистяков. – Не волнуйся. Я все устрою... – Он замялся, соображая, стоит ли говорить, какой ценой достанется ему это несчастное койко-место в Нефроцентре, но, подумав, решил не говорить.

– Спасибо, Валера...

– Я тебе позвоню на следующей неделе. Раньше не получится.

– У нас нет телефона, – забеспокоилась Надя.

– Тогда позвони мне ты. В среду. Ладно?

– Спасибо, Валера!

– Выше голову, товарищ! Скоро восстанет пролетариат Германии!

– Ты знаешь, – вдруг какой-то жалобно-радостной скороговоркой начала Надя. – Дима роскошно играет в шахматы. У него второй мужской! Представляешь?

– Какой Дима? – не сообразил Чистяков.

– Дима... – пояснила она. – Мальчика зовут Дима!..

Когда запыхавшийся Валерий Павлович выскочил на улицу и очутился возле черной «Волги» с представительским московским номером на бампере, Убивец, уже сидевший рядом с шофером, посмотрел на Валерия Павловича с той грустной сосредоточенностью, которая в отношениях между людьми их уровня означала: а мог бы и не заставлять себя ждать! Когда они выруливали из внутреннего дворика ДК «Знамя», Иванушкин попросил водителя проехать через «Новокузнецкую», чтобы подбросить домой секретаря райкома партии.

Улицы оказались совершенно пустынными, и просто не верилось, что всего три часа назад они были запружены плотным, неостановимым потоком словно бы прущих на нерест автомобилей. Мелькали мимо освещенные, но уже бесхозные в эту пору стеклянные милицеевские будочки. Водитель включил приемник, отыскал среди эфирного воя и скрежета «Маяк» – передавали симфоническую музыку. Чистяков подумал, что, уйдя из райкома, станет жить нормальной человеческой жизнью, накупит ворох классических пластинок, будет каждый вечер их слушать, особенно Чайковского и Сен-Санса. Он никогда не понимал по-настоящему музыки, но догадывался, что она примиряет с жизнью. А БМП, конечно, отдаст Валере это койко-место для Димы, обменяет на заявление по собственному желанию. Как будто в партии бывает оно, собственное желание!..

– После отчета на бюро горкома Бусыгин тебя уберет, – спокойно, как что-то само собой разумеющееся, сообщил Убивец. – Наш не хотел тебя отдавать, но ты же понимаешь!..

– Понимаю...

– Куда пойдешь?

– Не знаю...

– Возвращайся в науку.

– Куда? Ты смеешься.

– Поможем. Допустим, проректором к нам, в педагогический. А?

– Спасибо за заботу.

– Долг платежом... – отозвался Убивец и осторожненько спросил: – Дошло до нас, БМП вместо отчета хочет по горкому долбануть?! От имени и по поручению ширнармасс...

– Он со мной не советуется.

– Вестимо. С нами тоже. Товарищ не понимает...

– Объясните.

– Пробовали. Не понимает.

– Странно, – пожал плечами Валерий Павлович, – он как будто с вашим вместе учился?..

– Мы с тобой тоже вместе учились, – улыбнулся Иванушкин. – А почему бы тебе не выступить на бюро? Расскажешь, как он в районе кадры гноит...

– Сами вы, конечно, не знаете?
– Знаем. Но объективная информация с места – совсем другое дело. От тебя нужна лишь принципиальная оценка.

- Пугнуть его хотите?
- Немножко. Для профилактики.
- У тебя есть выход на Нефроцентр?
- Нет. На твой район вообще никаких выходов нет. Только через БМП...

В это время музыка закончилась и начались последние известия, сводившиеся в основном к тому, где и сколько посеяли, выплавили, пошили, сковали, собрали, изобрели, скосили... Куда только все девается? Потом директор какого-то завода стал с классовым остервенением ругать смежников. В заключение посетительница кооперативного кафе восторженно рассказывала, что впервые в жизни обедала за столом, застеленным чистой скатертью!

– Выступишь? – снова спросил Иванушкин.

– Я подумаю.

– Подумай. Елисееву, между прочим, скоро на покой. Через полгодика новый ректор понадобится...

Чистяков дурашливо отдал честь отъезжающей черной «Волге» и вошел в подъезд своего дома. Стеклопанель служебной комнатки была наглухо задернута розовой занавеской – консьержка опять болела. Лифт стоял с разверстыми дверями и словно специально поджидал Валерия Павловича. Кнопки пульта оказались оплавленными и закопченными, а на полированной текстуре гвоздем нацарапали: «Номенклатура е...» Второе слово, отглагольное прилагательное, было написано вполне грамотно, а вот в первом имелось две орфографические ошибки. Раньше ничего подобного в их респектабельном доме не случалось!

Лялька оставила записку: ночует сегодня у родителей, так как вагонку нашли в соседнем садово-огородном товариществе и тестю на радостях снова стало плохо. Далее она сообщала, что в холодильнике жареная печенка, в шкафу спагетти и что «Лялюшонок» целует Чистякова в ушко... На столе, рядом с запиской, лежали две новенькие книжки – «Спортивные игры в семье» и «Диатез у детей». Жена в последнее время одержимо скупала все издания, рассказывающие о секретах воспитания здорового потомства.

Валерий Павлович достал из холодильника початую бутылку водки и поначалу просто хотел выпить рюмочку, закусив тминной черной корочкой, но вдруг ощутил в желудке совершенно жуткий, клокочущий голод. Трясущимися руками он поставил на огонь печенку и воду для спагетти. Потом все-таки не выдержал, выпил рюмку и закусил остатками селедки, которые Лялька, с годами становившаяся все хозяйственнее, сложила в майонезную банку и залила подсолнечным маслом.

Дождаясь, пока закипит вода, Чистяков полистал книжку про спортивную семью и в предисловии наткнулся на такую вот фразу: «Однажды к древнему мудрецу пришли родители и сказали, что мечтают вырастить своего ребенка здоровым, красивым, умным. “Когда нужно начинать воспитание?” – спросили они. “Сколько лет ребенку?” – спросил мудрец. “Пять дней”, – ответили они. “Вы опоздали на девять месяцев и пять дней!” – был ответ».

Валерий Павлович представил себе, как в понедельник войдет в кабинет Бусыгина и, дождавшись, когда тот соизволит заметить секретаря по идеологии, положит на стол заявление: «В связи... прошу... по собственному желанию...» БМП надломит правую бровь, глянет с нехорошим любопытством и скажет, наверное, так: «Думаю, сложно будет объяснить членам бюро, почему в такой трудный момент вы уходите с партийной работы!» Скажет, а про себя, конечно, подумает: «Слава тебе господи! Сам догадался!» Потом Бусыгин спросит, куда же он собирается уходить. Валерий Павлович ответит, что пока еще сам не знает, и в этот момент, именно в этот момент, попросит за Надиного пацана... за Диму. «Грехи молодости?» – поинтересуется БМП. Чистяков лишь кивнет. И тот не откажет, ибо покорный уход своего

врага, а также его союзническое молчание на бюро горкома точно увяжет с этой странноватой просьбишкой. А молчание Чистякова БМП хорошо запомнит, потому что на бюро горкома будет порка, хорошая профилактическая порка районного руководителя, подзабывшего немного принцип демократического централизма. БМП вызовет по селектору секретаршу, эту лахудру, которую привез в Москву из своего Волчехренска, и скажет: «Маша, соедини меня с директором Нефроцентра!..» А в среду, когда позвонит Надя, Чистяков скажет ей: «Все нормально, товарищ! Бери Диму, товарищ, и дуй срочно в Нефроцентр, товарищ!» – «Спасибо, Валера!» – заплачет она. Что ж, за это Надино «спасибо» и за эти благодарности стоит заплатить своей дурацкой судьбой, разбить ее об пол, точно свинью-копилку... Валерий Павлович выпил еще рюмку и вывалил в пузырящуюся воду целую пачку спагетти. В начале первого позвонил дядя Базиль.

– Ты куда, барбос, исчез? – спросил он уныло. – БМП тобой интересовался. Меня, грешного, выспрашивал, а заодно предложил за две недели найти себе новое место... Понял?

– Понял... У тебя есть что-нибудь на примете?

– Есть. Начальник отдела кадров управления ритуальных услуг. Все кладбища мои будут! Соглашаться?

– Соглашайся, – улыбнулся Чистяков. – Хоть похоронишь меня по-людски...

– Новодевичье не обещаю, а Ваганьково гарантирую! – успокоил Мушковец. – А куда ты все-таки делся?

– Да та-ак...

– Ну и что тебе это «да та-ак» по фамилии Иванушкин напело?

– Предлагало на бюро горкома плюнуть в БМП.

– Плюнь, Валерочка, Христом Богом тебя прошу, плюнь! Хочешь, я тебе своих слюней подбавлю?

– Я подумаю, – ответил Чистяков.

Спагетти разварились и лежали на тарелке вроде солитера. Есть Валерию Павловичу хотелось. Он побрел в спальную, прямо в одежде плюхнулся на «сексодром», и ему показалось, что кровать – это мягкий плот, медленно плывущий куда-то и тихо покачивающийся на волнах.

...«Товарищ, ты меня уважаешь?» – спросила Надя, открывая глаза. Чистяков хотел объяснить, что не просто уважает – любит ее, но не успел, ибо снаружи раздался душераздирающий младенческий вопль: очевидно, два гундевших кота все-таки решились на большую драку. Почти сразу же донесся топот и громкие, заинтересованные крики первокурсников: «Куси его, серый, куси!» Чтобы лучше видеть потасовку, студенты, грохоча, взбежали на крылечко Надино «бунгало». И на занавеске, как в театре теней, сгрудились их живые силуэты. Счастливые обладатели друг друга опасливо косились на окно, страшились пошевелиться и оставались лежать все так же совокупно и все так же неподвижно обнявшись. Но исподволь сознание того, что буквально в метре от них, за тонкой стеночкой шумно толпятся ничего не подозревающие первокурсники, постепенно наполняло их тела боязливым и потому особенно острым желанием...

Эпилог

1

В понедельник бюро городского комитета партии, заслушав и обсудив отчет первого секретаря Краснопролетарского РК КПСС тов. Бусыгина М. П., рекомендовало освободить его от занимаемой должности за развал работы в районе. Состоявшийся на следующий день пленум райкома партии рассмотрел организационные вопросы: единодушно освободил тов. Бусы-

гина М. П. и так же единодушно избрал на освободившийся высокий пост тов. Чистякова В. П., работавшего ранее секретарем того же райкома.

2

Поговаривали, что выбор остановили на нем по двум причинам: во-первых, его терпеть не мог свергнутый Бусыгин (впрочем, таких людей насчитывалось немало), а во-вторых (и это главное!), Чистяков проявил необычайную дальновидность и оказался единственным, кто не стал швырять камни в БМП на том беспощадном заседании бюро горкома. Вернувшись домой с пленума райкома партии уже в новом качестве, на вопрос жены: «Как дела, Валерпалыч?» – он только вымолвил: «Полный апофегей!»

3

В среду, войдя в свой новый кабинет, где письменный стол уже был передвинут на другое место, а с полок убраны образцы народного творчества города Волчешкурска, откуда в свое время прибыл и куда теперь снова убывал товарищ Бусыгин, Валерий Павлович первым делом вызвал свою новую секретаршу Аллочку Ашукину, заказал себе крепкого чая с сушками и распорядился:

– Алла Викторовна, ко мне сегодня будет дозваниваться Надежда Александровна Печерникова. Запишите: Пе-чер-ни-ко-ва... Если я буду на активе, скажите ей, что вопрос решается... Пусть наберется терпения. Товарищи из Нефроцентра ее сами известят... И прошу вас, Алла Викторовна, будьте с ней поласковее. У Печерниковой серьезно болен ребенок... Очень серьезно! Понимаете?

– Понимаю, – кивнула Ашукина и уточнила: – Если вы будете на месте, вас соединять с ней?

– А зачем? – вздохнул Чистяков и ободряющей улыбкой выпроводил Аллочку из кабинета.

Что такое «Апофегей»?

1. Кто спал с Брежневым?

Обычно я задумываю рассказы, а пишу повести или романы. В рассказе мне тесновато: хочется поведать о том, что было с героем прежде. Помимо прочего, у него обнаруживается немало родственников, друзей и подруг – о них тоже хочется рассказать. К тому же у героя есть профессия, работа, сослуживцы, да и живет он в определенном месте и конкретном времени. Ну как не отразить и это! Заметили, из современной прозы почти исчез пейзаж? Герои приезжают просто на реку, идут просто в лес, срывают просто цветы и ягоды. Но ведь нет ни одной одинаковой реки, каждая травинка и ягода имеют названия, которые нынешним авторам, как правило, незнакомы. Да и приметы эпохи встретишь у них не часто, если, конечно, речь идет не о ГУЛАГе или «кровавой гэбне». Впрочем, и эти невеселые учреждения писатели скорее воображают, нежели отображают. Чтобы отобразить, надо изучить, а времени так мало – на тусню даже не хватает. Терпеть не могу сочинения, где персонажи напоминают бесполох целлулоидных кукол, помещенных в вакуум.

Мой же простенький сюжет именно за счет подробностей и деталей обычно «разгромождается», точно замысловатый дачный терем. А ведь намечался малюсенький садовый домик – комнатка с верандой. Первоначально рассказ, задуманный в середине 1980-х, назывался «Вид из президиума». Сюжет несложный: серьезный партийный начальник, сидя на сцене в ряду себе подобных за длинным столом, покрытым красной скатертью, вдруг получает записку от своей давней и, как с годами выяснилось, единственной в жизни любви. Начинает вспоминать. С трибуны тем временем доносится монотонный доклад, потом прения... А он все вспоминает, покрываясь мурашками былой страсти.

Должен заметить, что сюжет с запиской в президиум довольно часто встречался в тогдашнем городском фольклоре, а проще говоря, в анекдотах. Был и такой. XXIV съезд КПСС. Брежнев вдруг получает записку: «Леонид Ильич, а помните, как мы с вами вместе спали? Прошу принять по личному вопросу!» И подпись – «Такая-то». Генсек, известный ходок, смутился, принял в Кремле даму и выполнил ее просьбу, связанную, разумеется, с улучшением жилищных условий. С чем же еще? Она уже покидала кремлевский кабинет, когда Брежнев остановил ее вопросом: «Вы уж извините, товарищ Такая-то, но что-то не припомню, где и когда мы спали?» – «Ну как же! На XXIII съезде. Я – в зале. А вы – в президиуме...»

В середине восьмидесятых я, будучи членом сразу нескольких выборных органов, в основном комсомольских, частенько заседал в президиумах, развлекая товарищей по официальной неволе стихотворными экспериментами:

Все, кто пришел на пленум,
Однажды станут тленом.

И как-то раз тоже получил записку: «Эх ты! А говорил, что любишь! Обещал прийти... К.В.». До конца конференции я ломал голову, выскребая до сухого блеска сусеки личного опыта. Что еще за К.В.? Куда я обещал прийти? Так и не вспомнил. В конце толковища ко мне подошел Костя Воробьев, работник отдела культуры ЦК ВЛКСМ, и спросил, улыбаясь: «Что ж ты не пришел? Мы тебя ждали с пивом и воблой. А говорил, что любишь баню!» И я вспомнил, что мы действительно собирались компанией в сауну, недавно отгроханную в одном из оборонных НИИ. В ту пору укромных мест, где можно попариться, выпить и поговорить, было не так много, поэтому от подобных приглашений редко отказывались.

За «Апофегей» я сел в начале 88-го, сразу после выхода повести «Сто дней до приказа», всколыхнувшей и без того возбужденное советское общество. Когда сегодня обладатель «Букера», «Нацбеста» или «Большой книги» ощущает себя знаменитостью только потому, что его показали в телевизоре, мне смешно. Мои первые вещи вызвали всесоюзные прения, в журнале «Юность» под мешки с почтой в мой адрес выделили особый чуланчик, а на улице, если меня узнавали прохожие, случались стихийные читательские конференции. Говорю все это не из позднего тщеславия, а чтобы напомнить, какое место литература занимала в умах и душах соотечественников. От меня с нетерпением ждали продолжения «военной темы», я получал груды писем, где мне подсказывали сюжеты, сообщали факты самой разнузданной «дедовщины» и офицерских злоупотреблений. Но авторы одной темы похожи на едоков, которые всю жизнь жуют одну и ту же сосиску длиной в несколько километров. Отрежут очередной кусочек, разогреют и жуют, жуют. В моем поколении тоже были такие писатели, но их книги забылись сразу по прочтении, как рекомендации врача-венеролога после выздоровления.

Меня же какой-то непонятной магической силой тянуло рассказать то, что я знал о молодых партийных карьеристах, а перевидал я их к тому времени немало. Сам не знаю, откуда взялась эта тяга. Может, я каким-то седьмым, писательским, чувством предощущал скорый крах советской цивилизации с ее неповторимым номенклатурным миром? Или предвидел, что именно эти молодые мустанги партии и комсомола станут основной движущей силой капитализации страны? Была и другая причина: в повести «ЧП районного масштаба», законченной в 1981 году, я кое-что недоговорил, о чем-то умолчал из опаски, что вещь никогда не напечатают, ведь советская власть в ту пору казалась незыблемой, как Памир, и неисчерпаемой, как Байкал. Заметьте, футурологические произведения фантастов, например Ивана Ефремова или братьев Стругацких, пророков передовой советской интеллигенции, давали картины продвинутого бесклассового общества. О реставрации капитализма никто и не грезил. В этом смысле в наших головах царил полная каша. Так, мы, студенты пединститута, создали тайную литературную организацию и для написания программы сошлись в большой квартире Саши Трапезникова, сына военного прокурора Московского округа. Выпили и стали обсуждать первый раздел: будущее общественное устройство страны. Не больше и не меньше.

– Необходимо разрешить частную собственность! – заявил Саша.

– Капитализм, что ли? – не понял я.

– Нет, капитализм не нужен. Только частная собственность...

Потом долго спорили, как захватить власть, и пришли к выводу, что без помощи уголовного мира не обойтись. Ну не идиоты! Слава богу, на том наши бдения и закончились, а то бы моя первая повесть называлась не «Сто дней до приказа», а как-нибудь иначе – «Места отдаленные», например. Преувеличиваю? Но ведь впаляли же за подобные вещи семь лет прозаику Бородину, и как раз в те самые времена.

Впрочем, для написания «Апофегей» имелся и еще один мотив. О нем скажу подробнее. Иные критики, в советский период обслуживавшие коммунистическую идеологию с подобострастием брадобреев, теперь уверяют нас, будто вся советская литература – это унылый соцреализм, не имеющий ничего общего с жизнью. Вранье. Вранье даже в отношении самых мрачных времен, а уж о позднем, ослабившем идеологическую хватку режиме и говорить нечего. Ну какие соцреалисты Шолохов, Катаев, Ильф и Петров, Пильняк, Платонов, Леонов, Белов, Астафьев, Распутин, Солоухин, Трифонов, Вампилов?.. Никакие. Другое дело, существовало несколько, так сказать, табуированных зон, где отечественная литература вдруг кубарем скатывалась со своих высот и начинала улыбочиво заискивать перед властями предрежащими, как официант перед недовольным клиентом. Речь о темах, которые искони считались политически важными. Что-то вроде строго охраняемой рощицы посреди общедоступного лесного массива. «Вы куда?» – «Туда!» – «Туда нельзя!» – «Почему?» – «Потому! Не задерживайтесь!» Соб-

ственно, художественным рассекречиванием таких закрытых зон я и занимался в тот период: армия, комсомол, школа... Но самой секретно-табуированной была, конечно, партия.

В произведениях о ней продолжал господствовать давно осмеянный даже придворными критиками принцип «борьбы хорошего с лучшим». В потоке тогдашней довольно высокой литературы эти сочинения напоминали ломового извозчика, затесавшегося среди новеньких «Жигулей» на Калининском проспекте. Если в книге появлялся не очень уж хороший партработник, мгновенно рядом с ним, играя желваками и честно глядя вперед, возникал другой партработник – очень хороший. Реальная жизнь аппарата оказывалась практически вне литературного осмысления. Вышел, правда, в конце 1970-х роман хорошего сибирского прозаика, первого секретаря СП СССР Георгия Маркова «Грядущему веку», но читать его было трудно: тень пленумной риторики лежала даже на удачных страницах. В 1980-х годах первой попыткой художественного исследования человека, вовлеченного в аппаратную жизнь, стала, извините за прямоту, моя повесть «ЧП районного масштаба». Но тогдашняя критика этого даже не заметила, уткнувшись в «антибюрократический» роман В. Маканина «Человек свиты», сбитый из фобий и фанаберий кухонного советского фрондера. Критика часто предпочитает придуманный ею литературный процесс реальному – подобно тому, как иные дамы предпочитают эротические фантазии полноценной интимной близости.

2. Вляпавшиеся во власть

Итак, я уселся за «Апофегей». Мне захотелось написать честную историю хорошего человека, пошедшего во власть. И я сделал это: в 1988 году начал, а в начале 1989-го закончил. Писал я, наблюдая битву Горбачева с Ельциным, которого в ту пору представить себе президентом страны было так же невозможно, как ржавый танкер с дешевым алжирским вином вообразить флагманом советского флота. Имелся ли прототип у Валерия Чистякова? Конечно. Даже несколько, но зрительно я, сочиняя, представлял себе почему-то Валерия Бударина, он был первым секретарем Бауманского райкома комсомола в период моей недолгой работы в этой организации. В аппарате мой прототип не прижился, запил, опустился и был впоследствии зарезан в какой-то пьяной драке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.